Литрес ≡ Классика

Алексей Писемский

МАСОНЫ



Алексей Писемский

Масоны

«ЛитРес»

1880

Писемский А. Ф.

Масоны / А. Ф. Писемский — «ЛитРес», 1880

Действие разворачивается в 1830-е годы, когда масонское движение в России уже переживает упадок. В центре повествования – семейная сага о трёх сёстрах Рыжовых из обедневшей дворянской семьи, чьи судьбы переплетаются с последними представителями русского масонства. Главный герой, старый масон Егор Егорыч Марфин, предстаёт человеком высоких нравственных правил, однако его идеалам и попыткам жить по законам духовного братства всё труднее противостоять миру, где правят деньги, связи и беззаконие.

© Писемский А. Ф., 1880
© ЛитРес, 1880

Содержание

Часть первая 6
I 6
II 13
III 20
IV 26
V 30
VI 38
VII 44
VIII 51
Конец ознакомительного фрагмента. 56

Алексей Феофилактович Писемский
Масоны

Серия «Литрес Классика»

© «Литрес», 2026

Часть первая

I



Зима 1835 года была очень холодная; на небе каждый вечер видели большую комету[1] с длинным хвостом; в обществе ходили разные тревожные слухи о том, что с Польшей будет снова война, что появилась повальная болезнь – грипп, от которой много умирало, и что, наконец, было поймано и посажено в острог несколько пророков, предвещавших скорое преставление света. В крещенье холод дошел до 25 градусов. Луна, несмотря, что подернута была морозным туманом, освещала довольно ясно пустынные улицы одного из губернских городов. По главной улице этого города быстро ехала щегольская тройка в пошевнях. Коренная, кровный рысак, шла крупной рысью, а пристяжные скакали, держа голову около самой земли. Кучер стоял в передке на ногах и едва удерживал натянутыми, как струны, вожжами разгорячившихся

[1] …большую комету. – Речь идет о комете Галлея, периодичность которой была открыта знаменитым астрономом Эдмундом Галлеем (1656–1742) в 1682 г. До этого появление кометы Галлея было отмечено в 1531 и 1607 гг.

лошадей. На барском месте в пошевнях сидел очень маленького роста мужчина, закутанный в медвежью шубу, с лицом, гордо приподнятым вверх, с голубыми глазами, тоже закинутыми к небесам, и с небольшими, торчащими, как у таракана, усиками, – точно он весь стремился упорхнуть куда-то ввысь. Лет маленькому господину было около пятидесяти. У подъезда большого каменного дома, ярко освещенного во всех окнах, кучер остановил лошадей. Маленький господин, выскочив из пошевней и почти пробежав наружное с двумя гипсовыми львами крыльцо, стал затем проворно взбираться по широкой лестнице, устланной красным ковром и убранной цветами, пройдя которую он гордо вошел в битком набитую ливрейными лакеями переднюю. Здесь он сбросил с себя свою медвежью шубу и очутился во фраке, украшенном на одном из бортов тоненькой цепочкой, унизанной медальками и крестиками. Из передней маленький господин, с прежней гордой осанкой, направился в очень большую залу с хорами, с колоннами, освещенную люстрами, кенкетами, канделябрами, – залу с многочисленной публикой, из числа которой пар двадцать, под звуки полковых музыкантов, помещенных на хорах, танцевали французскую кадриль. Около стен залы сидели нетанцующие дамы с открытыми шеями и разряженные, насколько только хватило у каждой денег и вкусу, а также стояло множество мужчин, между коими виднелись чиновники в вицмундирах, дворяне в своих отставных военных мундирах, а другие просто в черных фраках и белых галстуках и, наконец, купцы в длиннополых, чуть не до земли, сюртуках и все почти с огромными, неуклюжими медалями на кавалерских лентах. Словом, это был не более не менее, как официальный бал, который давал губернский предводитель дворянства, действительный статский советник Петр Григорьевич Крапчик, в честь ревизующего губернию сенатора графа Эдлерса. Наш маленький господин, пробираясь посреди танцующих и немножко небрежно кланяясь на все стороны, стремился к хозяину дома, который стоял на небольшом возвышении под хорами и являл из себя, по своему высокому росту, худощавому стану, огромным рукам, гладко остриженным волосам и грубой, как бы солдатской физиономии, скорее старого, отставного тамбурмажора[2], чем представителя жантильомов[3]. Как лицо служащее, Крапчик тоже был в вицмундирном фраке и с анненской лентой на белом жилете. Увидав приближающегося к нему маленького господина, он воскликнул:

– Наконец-то вы, Егор Егорыч, приехали!

– Дела, все дела! – отвечал тот скороговоркой.

И при этом они пожали друг другу руки и не так, как обыкновенно пожимаются руки между мужчинами, а как-то очень уж отделив большой палец от других пальцев, причем хозяин чуть-чуть произнес: «А… Е…», на что Марфин слегка как бы шикнул: «Ши!». На указательных пальцах у того и у другого тоже были довольно оригинальные и совершенно одинакие чугунные перстни, на печатках которых была вырезана Адамова голова с лежащими под ней берцовыми костями и надписью наверху: «Sic eris».[4]

– Катрин, разве ты не видишь: Егор Егорыч Марфин! – сказал с ударением губернский предводитель проходившей в это время мимо них довольно еще молодой девице в розовом креповом, отделанном валянсье-кружевами платье, в брильянтовом ожерелье на груди и с брильянтовой диадемой на голове; но при всем этом богатстве и изяществе туалета девица сия была как-то очень аляповата; черты лица имела грубые, с весьма заметными следами пробивающихся усов на верхней губе, и при этом еще белилась и румянилась: природный цвет лица ее, вероятно, был очень черен! Впрочем, все эти недостатки ее скрашивались несколько выразительными и почти жгучими глазами и роскошными черными волосами. Особа эта была един-

[2] Тамбурмажор – старший барабанщик.

[3] Жантильом – от франц. gentllhomme – дворянин.

[4] «Таким будешь» (лат.).

ственная дочь хозяина и отчасти представляла фамильное сходство с ним. Сам господин Крапчик, по слухам, был восточного происхождения: не то грузин, не то армянин, не то грек.

– Как я рада вас видеть, monsieur Марфин! – произнесла Катрин, слегка приседая.

Марфин, с своей стороны, вежливо, но сухо ей поклонился. Катрин после того пошла далее – занимать других гостей.

– А граф приехал? – спросил Марфин хозяина.

– Давно приехал!.. Вон он разговаривает с Клавской!.. – отвечал тот, показывая глазами на плешивого старика с синей лентой белого орла, стоявшего около танцующих, вблизи одной, если хотите, красивой из себя дамы, но в то же время с каким-то наглым и бесстыжим выражением в лице. Марфин несколько мгновений смотрел в показанную ему сторону чрез свой двойной лорнет. Во все это время Клавская решительно не обращала никакого внимания на танцующего с нею кавалера – какого-то доморощенного юношу – и беспрестанно обертывалась к графу, громко с ним разговаривала, рассуждала и явно старалась представить из себя царицу бала. Сенатор, в свою очередь, тоже рассыпался перед ней в любезностях, и при этом своими мягкими манерами он обнаруживал в себе не столько сурового жреца Фемиды[5], сколько ловкого придворного, что подтверждали и две камергерские пуговицы на его форменном фраке.

– Стало быть, мне правду говорили, что он пленился этой госпожой? – спросил Марфин губернского предводителя.

– Через неделю же, как приехал!.. Заранее это у них было придумано и подготовлено, – произнес тот несколько язвительным голосом.

– Но кем?

– Нашим общим с вами другом.

– Губернатором?

– Конечно!.. Двоюродная племянница ему… Обойдут старика совершенно, так что все будет шито и крыто.

– Нет-с, нет!.. Я не допущу этого!.. – проговорил хоть и шепотом, но запальчиво Марфин.

– Пожалуйста, пожалуйста! – упрашивал его губернский предводитель. – А то ведь это, ей-богу, ни на что не похоже!.. Но сами вы лично знакомы с графом?

– В глаза его никогда не видал! – отвечал Марфин.

– Угодно вам, чтобы я вас представил?

– Хорошо.

Между тем кадриль кончилась. Сенатор пошел по зале. Общество перед ним, как море перед большим кораблем, стало раздаваться направо и налево. Трудно описать все мелкие оттенки страха, уважения, внимания, которые начали отражаться на лицах чиновников, купцов и даже дворян. На средине залы к сенатору подошел хозяин с Марфиным и проговорил:

– Ваше сиятельство, позвольте вам представить: полковник Марфин!

Последний заметно старался более обыкновенного топорщиться.

Сенатор весьма благосклонно протянул ему руку.

– Мне об вас очень много говорили министр внутренних дел и министр юстиции! – прибавил он к тому.

– Да, они меня знают! – отвечал почти небрежно Марфин.

Сенатору, кажется, не понравился тон его ответа. Не сказав ему более ни слова, он пошел далее и в первой же небольшой гостиной, где на нескольких столиках играли в карты, остановился у одного из них. За столиком этим, увы! – играл – обреченная жертва ревизии – местный губернатор, тоже уже старик, с лошадиною профилью, тупыми, телячьими глазами и в анненской ленте. Когда к нему приблизился сенатор, на лице губернатора, подобно тому, как и на

[5] Фемида (древнегреч. миф.) – богиня Правосудия.

лицах других чиновников, отразились некоторое смущение и затаенная злоба. Сенатор стал смотреть на игру.

– Вы очень рассеянно играете: вам следовало ходить с бубен! – заметил он губернатору.

– Я вообще дурно играю! – отозвался тот, силясь улыбнуться.

– В таком случае, остерегитесь: Михайло Сергеич отличный игрок! – продолжал сенатор, разумея под этим именем своего правителя дел, с которым губернатор играл в пикет.

– Какой я нынче, ваше сиятельство, игрок, особенно в пикет! Со службой совсем разучился! – отвечал правитель дел, сухопарый, или, точнее сказать, какой-то даже оглоданный петербургский чиновник, с расчесанными бакенбардами, с старательно вычищенными ногтями, в нескольких фуфайках и сверх их в щегольском белье.

Фамилия его была Звездкин, а чин – действительный статский советник. В петербургском чиновничьем мире он слыл за великого дельца, но вместе с тем и за великого плута. Его нарочно подсунули из министерства графу Эдлерсу, так как всем почти было известно, что почтенный сенатор гораздо более любит увлекаться вихрем светских удовольствий, чем скучными обязанностями службы; вследствие всего этого можно было подозревать, что губернатор вряд ли не нарочно старался играть рассеянно: в его прямых расчетах было проигрывать правителю дел!

Посмотрев еще несколько времени на игру, граф пошел далее в следующую большую гостиную. Хозяин дома, бывший, должно быть, несмотря на свою грубоватую наружность, человеком весьма хитрым и наблюдательным и, по-видимому, старавшийся не терять графа из виду, поспешил, будто бы совершенно случайно, в сопровождений даже ничего этого не подозревавшего Марфина, перейти из залы в маленькую гостиную, из которой очень хорошо можно было усмотреть, что граф не остановился в большой гостиной, исключительно наполненной самыми почтенными и пожилыми дамами, а направился в боскетную, где и уселся в совершенно уединенном уголку возле m-me Клавской, точно из-под земли тут выросшей.

– Опять уж парочкой! – шепнул предводитель Марфину.

– О, дурак, старый развратник! – пробормотал тот с досадой и с презрением.

– Да! – протянул предводитель. – Не такого бы по нашим делам нам надобно прислать сенатора.

В ответ на это Марфин пожал плечами и сделал из лица мину, как бы говорившую: «Но где ж их взять, когда других и нет?»

– Но скажите, по крайней мере, – не отставал от него предводитель, – не привезли ли вы каких-нибудь известий о нашем главном деле?

– Никаких и много! – отвечал своим обычным отрывистым тоном Марфин.

По лицу губернского предводителя пробежало любопытство, смешанное как бы с некоторым страхом.

– Мое нетерпение, ей-богу, так велико, – начал он полушепотом и заискивающим голосом, – что я умолял бы вас теперь же сообщить мне эти известия.

– Но здесь нельзя говорить об этом!.. Надобно уйти куда-нибудь! – возразил ему Марфин.

– Это очень легко сделать: прошу вас пожаловать за мной, – подхватил предводитель и, еще раз взглянув мельком, но пристально на сидевшего в боскетной сенатора, провел Марфина через кабинет и длинный коридор в свою спальню, освещенную двумя восковыми свечами, стоявшими на мозаиковом с бронзовыми ободочками столике, помещенном перед небольшим диванчиком.

Пол спальни был покрыт черным ковром с нашитыми на нем золотыми как бы каплями или слезами. По одной из стен ее в алькове виднелась большая кровать под штофным пологом, собранным вверху в большое золотое кольцо, и кольцо это держал не амур, не гений какой-нибудь, а летящий ангел с смертоносным мечом в руке, как бы затем, чтобы почиющему на этом ложе каждоминутно напоминать о смерти. Передний угол комнаты занимала большая

божница, завершавшаяся вверху полукуполом, в котором был нарисован в багрянице благословляющий бог с тремя лицами, но с единым лбом и с еврейскою надписью: «Иегова». Под ним висели иконы, или, точнее сказать, картины религиозного содержания: Христос в терновом венке, несущий крест с подписью: «nostra salus» (наше спасение); Иоанн Креститель с агнцем и подписью: «delet peccata» (вземляй грехи мира) и Магдалина в пустыне с подписью: «poenitentia» (покаяние). По боковым стенкам божницы представлялись чисто какие-то символы: на правой из них столб, а около него якорь с пояснением: «spe et fortitudine» (надеждою и твердостью); а на левой – святая чаша с обозначением: «redemptio mundi» (искупление мира). Но, собственно, икон православного пошиба не было ни одной. Перед божницею светилась и опять тоже не столько лампадка, а скорее лампа с зеленым зонтиком спереди. Таким образом, вся эта святыня как будто бы навеяна была из-чужа, из католицизма, а между тем Крапчик только по-русски и умел говорить, никаких иностранных книг не читал и даже за границей никогда не бывал. Далее на стене, противуположной алькову, над огромной рабочей конторкой, заваленной приходо-расходными книгами, счетами, мешочками с образцами семян ржи, ячменя, овса, планами на земли, фасадами на постройки, висел отлично гравированный портрет как бы рыцаря в шапочке и в мантии, из-под которой виднелись стальные латы, а внизу под портретом подпись: «Eques a victoria»[6], под которою, вероятно, рукою уж самого хозяина было прибавлено: «Фердинанд герцог Брауншвейг-Люнебургский, великий мастер всех соединенных лож».

Введя гостя своего в спальню, губернский предводитель предложил ему сесть на диванчик. Марфин, под влиянием своих собственных мыслей, ничего, кажется, не видевший, где он, опустился на этот диванчик. Хозяин все с более и более возрастающим нетерпением в лице поместился рядом с ним.

– Значит, нет никакой надежды на наше возрождение? – заговорил он.

– Никакой, ни малейшей! – отвечал Марфин, постукивая своей маленькой ножкой. – Я говорю это утвердительно, потому что по сему поводу мне переданы были слова самого государя.

– Государя?.. – переспросил предводитель с удивлением и недоверием.

Марфин в ответ утвердительно кивнул головой.

Сомнение все еще не сходило с лица предводителя.

– Мне повелено было объяснить, – продолжал Марфин, кладя свою миниатюрную руку на могучую ногу Крапчика, – кто я, к какой принадлежу ложе, какую занимаю степень и должность в ней и какая разница между масонами и энциклопедистами, или, как там выражено, волтерианцами, и почему в обществе между ими и нами существует такая вражда. Я на это написал все, не утаив ничего!

Предводитель был озадачен.

– Но, почтенный брат, не нарушили ли вы тем наш обет молчания? – глухо проговорил он.

Марфин совершенно вспетушился.

– Это вздор-с вы говорите! – забормотал он. – Я знаю и исполняю правила масонов не хуже вашего! Я не болтун, но перед государем моим я счел бы себя за подлеца говорить неправду или даже скрывать что-нибудь от него.

Все это Егор Егорыч произнес с сильным ударением.

– Это, конечно, на вашем месте сделал бы то же самое каждый, – поспешил вывернуться губернский предводитель, – и я изъявляю только мое опасение касательно того, чтобы враги наши не воспользовались вашей откровенностью.

– Это уж их дело, а не мое! – резко перебил его Марфин. – Но я написал, что я христианин и масон, принадлежу к такой-то ложе… Более двадцати лет исполняю в ней обязанности

[6] «Всадник-победитель» (лат.).

гроссмейстера… Между господами энциклопедистами и нами вражды мелкой и меркантильной не существует, но есть вражда и несогласие понятий: у нас, масонов, – бог, у них – разум; у нас – вера, у них – сомнение и отрицание; цель наша – устройство и очищение внутреннего человека, их цель – дать ему благосостояние земное…

– Хорошо, хорошо! – начал уж похваливать предводитель.

– Знания их, – продолжал Марфин, – более внешние. Наши – высшие и беспредельные. Учение наше – средняя линия между религией и законами… Мы не подкапыватели общественных порядков… для нас одинаковы все народы, все образы правления, все сословия и всех степеней образования умы… Как добрые сеятели, мы в бурю и при солнце на почву добрую и каменистую стараемся сеять…

– Превосходно, превосходно! – воскликнул предводитель и, кажется, с совершенно искренним увлечением.

В свою очередь, и Марфин, говоря последние слова, исполнился какого-то даже величия: про него вся губерния знала, что он до смешного идеалист, заклятой масон и честнейший человек.

– А имеете ли вы сведения, как принято было ваше письмо? – допытывался у него предводитель, явно стремившийся более к земным и конечным целям, чем к небесным.

– Имею, и самые верные, потому что мне официально написано, что государю благоугодно благодарить меня за откровенность и что нас, масонов, он никогда иначе и не разумел.

– Мы такие и есть и такими всегда останемся! – не удержался и воскликнул с просветлевшим лицом предводитель.

Марфина рассердило, что его перебивают.

– Дослушайте, пожалуйста, и дайте договорить, а там уж и делайте ваши замечания, – произнес он досадливым голосом и продолжал прежнюю свою речь: – иначе и не разумел, но… (и Марфин при этом поднял свой указательный палец) все-таки желательно, чтоб в России не было ни масонов, ни энциклопедистов, а были бы только истинно-русские люди, истинно-православные, любили бы свое отечество и оставались бы верноподданными.

– Мы и православные и верноподданные! – подхватил губернский предводитель.

– Нет, это еще не все, мы еще и другое! – перебил его снова с несколько ядовитой усмешкой Марфин. – Мы – вы, видно, забываете, что я вам говорю: мы – люди, для которых душа человеческая и ее спасение дороже всего в мире, и для нас не суть важны ни правительства, ни границы стран, ни даже религии.

– Религии, положим, важны: братья масоны могут быть лишь христиане.

– Нет-с, нет и нет! – закричал на него Марфин. – Вы это говорите со слов Лопухина[78], и я, пожалуй, скажу: да, христианином; но каким? Христианином по духу!.. Истинный масон, крещен он или нет, всегда духом христианин, потому что догмы наши в самом чистом виде находятся в евангелии, предполагая, что оно не истолковывается с вероисповедными особенностями; а то хороша будет наша всех обретающая и всех призывающая любовь, когда мы только будем брать из католиков, лютеран, православных, а люди других исповеданий – плевать на них, гяуры они, козлища!

– Если так понимать, то конечно! – произнес уклончиво предводитель и далее как бы затруднялся высказать то, что он хотел. – А с вас, скажите, взята подписка о непринадлежности к масонству? – выговорил он, наконец.

– Никакой!.. Да я бы и не дал ее: я как был, есмь, так и останусь масоном! – отвечал Марфин.

Губернский предводитель грустно усмехнулся и начал было:

---

[7] Лопухин Иван Владимирович (1756–1816) – писатель-мистик и судебный деятель.

[8] Масон времен Новикова, написавший несколько масонских сочинений. (Прим. автора.).

– Опять-таки в наших правилах сказано, что если монаршая воля запретит наши собрания, то мы должны повиноваться тому безропотно и без малейшего нарушения.

– И опять-таки вы слышали звон, да не уразумели, где он! – перебил его с обычною своей резкостью Марфин. – Сказано: «запретить собрания наши», – тому мы должны повиноваться, а уж никак это не касается нашего внутреннего устройства: на религию и на совесть узды класть нельзя! В противном случае, такое правило заставит человека или лгать, или изломать всю свою духовную натуру.

– Прекрасно-с, я согласен и с этим! – снова уступил предводитель. – Но как же тут быть?.. Вы вот можете оставаться масоном и даже открыто говорить, что вы масон, – вы не служите!.. Но как же мне в этом случае поступить? – заключил он, как бы в форме вопроса.

– А вам кто велит служить? Какая необходимость в том? – произнес почти с презрением Марфин.

– Привычка, пятидесятилетняя привычка служить, больше ничего! – объяснил предводитель.

– Не говорите этого! Не говорите!.. Это или неправда, или какое-то непонятное заблуждение ваше! – прикрикнул на него Марфин. – Я, впрочем, рад этим невзгодам на нас, очень рад!.. Пусть в них все, как металлы в горниле, пообчистятся, и увидится, в ком есть золото и сколько его!

Губернский предводитель немного сконфузился при этом: он никак не желал подобного очищения, опасаясь, что в нем, пожалуй, крупинки золота не обретется, так как он был ищущим масонства и, наконец, удостоился оного вовсе не ради нравственного усовершенствования себя и других, а чтобы только окраситься цветом образованного человека, каковыми тогда считались все масоны, и чтобы увеличить свои связи, посредством которых ему уже и удалось достигнуть почетного звания губернского предводителя. В настоящее же время его мечтой была надежда сломить губернатора и самому сесть на его место.

– Меня больше всего тут удивляет, – заговорил он после короткого молчания и с недоумевающим выражением в лице, – нам не доверяют, нас опасаются, а между тем вы, например, словами вашими успели вызвать – безделица! – ревизию над всей губернией.

– Я не словами вызвал, а криком, криком! – повторил двукратно Марфин. – Я кричал всюду: в гостиных, в клубах, на балах, на улицах, в церквах.

– Другой, пожалуй, кричи: его заставили бы только замолчать, а вас – нет.

– Они хорошо и сделали, что не заставляли меня! – произнес, гордо подняв свое лицо, Марфин. – Я действую не из собственных неудовольствий и выгод! Меня на волос чиновники не затрогивали, а когда бы затронули, так я и не стал бы так поступать, памятуя слова великой молитвы: «Остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим», но я всюду видел, слышал, как они поступают с другими, а потому пусть уж не посетуют!

– Вы далеко не все слышали, далеко, что я, например, знаю про этих господ, сталкиваясь с ними, по моему положению, на каждом шагу, – подзадоривал его еще более губернский предводитель.

В это время, однако, вошедший в спальню лакей возвестил:

– Ваше превосходительство, его сиятельство граф Эдлерс уезжает!

– Как уезжает?! – воскликнул с испугом Крапчик и почти бегом побежал к своему именитому гостю.

II

Марфину очень не понравилась такая торопливость и суетливость хозяина. «Что это такое? Зачем все это и для чего?» – спрашивал он себя, пожимая плечами и тоже выходя чрез коридор и кабинет в залу, где увидал окончательно возмутившую его сцену: хозяин униженно упрашивал графа остаться на бале хоть несколько еще времени, но тот упорно отказывался и отвечал, что это невозможно, потому что у него дела, и рядом же с ним стояла мадам Клавская, тоже, как видно, уезжавшая и объяснявшая свой отъезд тем, что она очень устала и что ей не совсем здоровится. Собственно, Клавскую упрашивала остаться дочь хозяина, мадмуазель Катрин; но все их мольбы остались тщетными. Гости уехали. Хозяева пошли их провожать чуть не до сеней. Марфин сейчас же начал протестовать и собрал около себя целый кружок.

– Это черт знает что такое! – почти кричал он. – Наши балы устраиваются не для их кошачьих свиданий!.. Это пощечина всему обществу.

– Конечно, конечно! – соглашались вполголоса некоторые из мужчин.

Дамы тоже были немало поражены: одни пожимали плечами, другие тупились, третьи переглядывались значительными взглядами, хотя в то же время – нельзя этого утаить – многие из них сделали бы с величайшим удовольствием то, что сделала теперь Клавская.

Хозяин наконец возвратился в залу и, услыхав все еще продолжавшиеся возгласы Марфина, подошел к нему.

– Что такое, Егор Егорыч, вы шумите? Что вас разгневало? – спросил он его с улыбкою.

– Если вы этого не понимаете, тем хуже для вас!.. Для вас хуже! – отвечал с некоторым даже оттенком презрения маленький господин.

– Понимать тут нечего; вы, по вашему поэтическому настроению, так способны преувеличивать, что готовы из всякой мухи сделать слона!

– Это – муха, ничтожная муха, по его!.. А не слон самоунижения и самооплевания!..

– Егор Егорыч, пощадите от таких выражений! – произнес уже обиженным голосом предводитель.

Марфин, впрочем, вряд ли бы его пощадил и даже, пожалуй, сказал бы еще что-нибудь посильней, но только вдруг, как бы от прикосновения волшебного жезла, он смолк, стих и даже побледнел, увидав входившее в это время в залу целое семейство вновь приехавших гостей, которое состояло из трех молодых девушек с какими-то ангелоподобными лицами и довольно пожилой матери, сохранившей еще заметные следы красоты. Дама эта была некая вдова-адмиральша Юлия Матвеевна Рыжова. Она наследовала после мужа очень большое состояние, но, по доброте своей и непрактичности, совершенно почти расстроила его. Ее сентиментальный характер отчасти выразился и в именах, которые она дала дочерям своим, – и – странная случайность! – инстинкт матери как бы заранее подсказал ей главные свойства каждой девушки: старшую звали Людмилою, и действительно она была мечтательное существо; вторая – Сусанна – отличалась необыкновенною стыдливостью; а младшая – Муза – обнаруживала большую наклонность и способность к музыке.

Все эти три девицы воспитывались в институте, и лучше всех из них училась Сусанна, а хуже всех Людмила, но зато она танцевала божественно, как фея. Рядом с этим семейством шел высокий и стройный мужчина. Как лев величественный, он слегка поматывал своей красивой головой на широкую грудь. Его лицо имело отчасти насмешливое выражение, а проходившие вместе с тем по этому лицу глубокие борозды ясно говорили, что этот господин (ему было никак не больше тридцати пяти лет) достаточно пожил и насладился жизнью. Он был дальний родственник Рыжовой и в семье ее просто именовался Валерьяном, а в обществе Валерьяном Ченцовым и слыл там за неотразимого покорителя женских сердец и за сильно азартного игрока. Марфину Ченцов тоже приходился племянником. Между им и дядей существовали

какие-то странные отношения: Марфин в глаза и за глаза называл Ченцова беспутным и погибшим, но, несмотря на то, нередко помогал ему деньгами, и деньгами не маленькими. Ченцов же, по большей части сердя дядю без всякой надобности разными циническими выходками, вдруг иногда обращался к нему как бы к родной матери своей, с полной откровенностью и даже любовью.

Мадмуазель Катрин поспешила подойти к приехавшим дамам.

– Как поздно, как поздно!.. Мы с папа были в отчаянии и думали, что вы не приедете, – говорила она, обмениваясь книксенами с девушками и их матерью.

– Ах, это я виновата, я, – отвечала последняя, – ко мне сегодня приехал мой управляющий и привез мне такие тяжелые и неприятные известия, что я чуть не умерла.

Все это обе дамы говорили на французском языке: Катрин несколько грубовато и не без ошибочек, а адмиральша – как парижанка.

Ченцов между тем, тоже поклонившийся мадмуазель Крапчик, тут же пригласил ее на кадриль.

Как ни была набелена Катрин, но можно было заметить, что она вспыхнула от удовольствия.

– Вы желаете со мной танцевать? – переспросила она.

Ченцов повторил свое приглашение.

– Извольте, – отвечала Катрин.

Марфин, тоже более бормоча, чем выговаривая свои слова, пригласил старшую дочь адмиральши, Людмилу, на кадриль. Та, переглянувшись с Валерьяном, дала ему слово.

Подошел Крапчик и, не преминув опривествовать этих новых гостей, спросил Ченцова:

– Вы будете играть сегодня?

– Нет, – отвечал Ченцов: в переводе это значило, что у него нет ни копейки денег.

Губернский предводитель удалился в маленькую гостиную и там сел около все еще продолжавшего играть с губернатором правителя дел Звездкина, чтобы, по крайней мере, хоть к нему вместо сенатора приласкаться.

Пары стали устанавливаться в кадриль, и пока музыканты усаживались на свои места, в углу залы между двумя очень уж пожилыми чиновниками, бывшими за несколько минут перед тем в кружке около Марфина, начался вполголоса разговор, который считаю нужным передать.

– Марфину спасибо, ей-богу, спасибо, что он так отделал этого нашего губернского маршала, – сказал один из них, одетый в серый ополченский чапан, в штаны с красными лампасами, и вообще с довольно, кажется, честною наружностью. Ополченец этот был заседатель земского суда, уже отчисленный по сенаторской ревизии от службы и с перспективою попасть под следствие. Беседовавший с ним другой чиновник, толстый, как сороковая бочка, с злыми, воспаленными зеленоватыми глазами, состоял старшим советником губернского правления и разумелся правой рукой губернатора по вымоганию взяток.

– И Марфин-то ваш хорош, – превредный болтун и взбрех! – отозвался советник на слова заседателя. – По милости его, может быть, мы и испиваем теперь наши горькие чаши.

– Это так!.. – согласился тот. – Но кто поддул Марфина, как не губернский предводитель?

– Что ж поддул! – возразил гневно советник. – Если бы у господина Марфина хоть на копейку было в голове мозгу, так он должен был бы понимать, какого сорта птица Крапчик: во-первых-с (это уж советник начал перечислять по пальцам) – еще бывши гатчинским офицером, он наушничал Павлу на товарищей и за то, когда Екатерина умерла, получил в награду двести душ. Второе: женился на чучеле, на уроде, потому только, что у той было полторы тысячи душ, и, как рассказывают, когда они еще были молодыми, с этакого вот тоже, положим, балу, он, возвратясь с женой домой, сейчас принялся ее бить. «Злодей, – спрашивает она, – за что?..» – «А за то, говорит, что я вот теперь тысячу женщин видел, и ты всех их хуже и гаже!» Мила она ему была?

Заседатель усмехнулся и покачал головой.

– Третие-с, – продолжал советник все более и более с озлобленными глазами, – это уж вы сами должны хорошо знать, и скажите, как он собирает оброк с своих мужиков? По слухам, до смерти некоторых засекал, а вы, земская полиция, все покрывали у него.

– Что ж тут земской полиции делать! – подхватил, разводя руками, заседатель. – Господин Крапчик не простой дворянин, а губернский предводитель.

– Ну, да, конечно!.. Вот он и показал вам себя, поблагодарил вас!.. – отозвался советник. – Вы мало что в будущей, но и в здешней жизни наказание за него получите.

– А правда ли, что он дочь свою выдает за Марфина? – спросил заседатель.

– И выдаст, по пословице: деньги к деньгам!.. – сказал советник.

– Именно деньги к деньгам! – подхватил печальным голосом заседатель.

Раздавшаяся музыка заглушила, а наконец, и совсем прекратила их беседу.

Катрин, став с Ченцовым в кадриль, сейчас же начала многознаменательный и оживленный разговор.

– Скажите, правда ли, что у madame Рыжовой очень расстроены дела по имению? – спросила она, кажется, не без умысла.

– Наши с ma tante[9] дела – как сажа бела! – отвечал, захохотав, Ченцов. – Она вчера ждала, что управляющий ее прибудет к ней с тремя тысячами денег, а он ей привез только сорок куриц и двадцать поросенков, но и то больше померших волею божией, а не поваром приколотых.

– Ну что это?.. Бедная!.. – произнесла как бы и с чувством сожаления Катрин. – И как вам не грех над такими вещами смеяться?.. Вы ужасный человек!.. Ужасный!

– Чем?.. Чем?.. – спрашивал Ченцов.

– Я знаю чем!.. Для вас ничего нет святого!

– Напротив!.. Напротив!.. – возражал ей под такт музыки Ченцов.

– Но что же для вас есть святое?.. Говорите… – поставила уже прямо свой вопрос Катрин, вскидывая на Ченцова свои жгучие глаза.

– Восток и восточные женщины! – отвечал он.

Катрин сильно покраснела под белилами.

– Восток? – протянула она.

– Да, и доказательство тому – я ужасно, например, люблю поэму Баратынского «Цыганка». Читали вы ее? – спросил Ченцов.

– Нет! – проговорила Катрин, сначала не понявшая, к чему вел этот вопрос.

– Прочтите!.. Это отличнейшая вещь!.. Сюжет ее в том, что некто Елецкий любит цыганку Сару… Она живет у него в доме, и вот описывается одно из их утр:

В покое том же, занимая
Диван, цыганка молодая
Сидела, бледная лицом…
. .
Рукой сердитою чесала
Цыганка черные власы
И их на темные красы
Нагих плечей своих метала!

Декламируя это, Ченцов прямо смотрел на черные волосы Катрин: между тогдашними ловеласами было в сильном ходу читать дамам стихотворения, какое к какой подходило.

– Отчего сердитой рукой? – полюбопытствовала Катрин.

[9] тетушка (франц.).

– Оттого, что она подозревает, что у нее есть соперница – одна девушка нашего круга, mademoiselle Волховская, на которой Елецкий хочет жениться и про которую цыганка говорит:

Да и по ком твоя душа
Уж так смертельно заболела,
Ее вчера я рассмотрела —
Совсем, совсем нехороша!

– Она так говорит, конечно, из ревности! – заметила Катрин.

– Вероятно! – согласился Ченцов.

– Ревность, я думаю, ужасное чувство!

Произнося последние слова, Катрин как бы невольно взглянула на Людмилу.

– Еще бы! – подхватил Ченцов и переменил разговор. – Вы вот поете хорошо, – начал он.

– А вы находите это? – спросила с вспыхнувшим от удовольствия взором Катрин.

– Нахожу, и главное: с чувством, с душой, как говорится…

Катрин несколько стыдливо потупила глаза.

– А знаете ли вы этот романс, – продолжал Ченцов, видимо, решившийся окончательно отуманить свою даму, – как его?..

Она безгрешных сновидений
Тебе на ложе не пошлет
И для небес, как добрый гений.
Твоей души не сбережет!
Вглядись в пронзительные очи —
Не небом светятся они!..
В них есть неправедные ночи,
В них есть мучительные сны!

Цель была достигнута: Катрин все это стихотворение от первого до последнего слова приняла на свой счет и даже выражения: «неправедные ночи» и «мучительные сны». Радость ее при этом была так велика, что она не в состоянии была даже скрыть того и, обернувшись к Ченцову, проговорила:

– Отчего вы никогда не приедете к нам обедать?.. На целый бы день?.. Я бы вам, если хотите, спела.

– Но я боюсь, что ваш батюшка обыграет меня в карты! – объяснил Ченцов.

– О, я не позволю даже ему сесть за карты!.. – воскликнула Катрин. – Приедете?

– Приеду! – отвечал Ченцов.

Марфин и Людмила тоже начали свой разговор с Юлии Матвеевны, но только совершенно в ином роде.

– Мать ваша, – заговорил он, – меня серьезно начинает беспокоить: она стареется и разрушается с каждым часом.

– Ах, да! – подхватила Людмила. – С ней все истерики… Сегодня два раза за доктором посылали… Так это скучно, ей-богу!

Марфин нахмурился.

– Не ропщите!.. Всякая хорошая женщина прежде всего не должна быть дурной дочерью! – проговорил он своей скороговоркой.

– Но неужели же я дурная дочь? – произнесла чувствительным голосом Людмила.

– Нет! – успокоил ее Марфин. – И я сказал это к тому, что если хоть малейшее зернышко есть чего-нибудь подобного в вашей душе, то надобно поспешить его выкинуть, а то оно произрастет и, пожалуй, даст плоды.

Людмила, кажется, и не расслушала Марфина, потому что в это время как бы с некоторым недоумением глядела на Ченцова и на Катрин, и чем оживленнее промеж них шла беседа, тем недоумение это увеличивалось в ней. Марфин, между тем, будучи весь охвачен и ослеплен сияющей, как всегда ему это казалось, красотой Людмилы, продолжал свое:

– Ваше сердце так еще чисто, как tabula rasa[10], и вы можете писать на нем вашей волей все, что захотите!.. У каждого человека три предмета, достойные любви: бог, ближний и он сам! Для бога он должен иметь сердце благоговейное; для ближнего – сердце нежной матери; для самого себя – сердце строгого судьи!

Людмила при словах Егора Егорыча касательно совершенной чистоты ее сердца потупилась, как будто бы втайне она сознавала, что там не совсем было без пятнышка…

– В молодом возрасте, – толковал Марфин далее, – когда еще не налегли на нашу душу слои предрассудочных понятий, порочных привычек, ожесточения или упадка духа от неудач в жизни, – каждому легко наблюдать свой темперамент!

– А я вот до сих пор не знаю моего темперамента, – перебила его Людмила.

– Зато другие, кто внимательно за вами наблюдал, знают его и почти безошибочно могут сказать, в чем состоят его главные наклонности! – возразил ей Марфин.

– В чем же они состоят? Скажите!.. Я знаю, что вы наблюдали за мной!.. – произнесла не без некоторого кокетства Людмила.

Марфин потер себе лоб.

– У вас, – начал он после короткого молчания, – наипаче всего развита фантазия; вы гораздо более способны прозревать и творить в области духа, чем в области видимого мира; вы не склонны ни к домовитости, ни к хозяйству, ни к рукодельям.

– Ах, я ничего этого не умею, ничего! – призналась Людмила.

Марфин самодовольно улыбнулся и, гордо приосанившись, проговорил:

– Угадал поэтому я, но не печальтесь о том… Припомните слова спасителя: «Мария же благую часть избра, яже не отымется от нея».

То, что он был хоть и совершенно идеально, но при всем том почти безумно влюблен в Людмилу, догадывались все, не выключая и старухи-адмиральши. Людмила тоже ведала о страсти к ней Марфина, хотя он никогда ни одним звуком не намекнул ей об этом. Но зато Ченцов по этому поводу беспрестанно подтрунивал над ней и доводил ее иногда чуть не до слез. Видя в настоящую минуту, что он уж чересчур любезничает с Катрин Крапчик, Людмила, кажется, назло ему, решилась сама быть более обыкновенного любезною с Марфиным.

– А скажите, что вот это такое? – заговорила она с ним ласковым голосом. – Я иногда, когда смотрюсь в зеркало, вдруг точно не узнаю себя и спрашиваю: кто же это там, – я или не я? И так мне сделается страшно, что я убегу от зеркала и целый день уж больше не загляну в него.

Марфин приподнял кверху свои голубые глаза.

– Это означает, – начал он докторальным тоном, – что в эти минуты душа ваша отделяется от вашего тела и, если можно так выразиться, наблюдает его издали и спрашивает самое себя: что это такое?

– Но как же я не умираю, когда меня душа оставляет? – сделала весьма разумный вопрос Людмила.

Марфин, однако, имел уже готовый ответ на него.

– В человеке, кроме души, – объяснил он, – существует еще агент, называемый «Архей» – сила жизни, и вот вы этой жизненной силой и продолжаете жить, пока к вам не возвратится

[10] чистая доска (лат.).

душа… На это есть очень прямое указание в нашей русской поговорке: «души она – положим, мать, сестра, жена, невеста – не слышит по нем»… Значит, вся ее душа с ним, а между тем эта мать или жена живет физическою жизнию, – то есть этим Археем.

– Вот что, – понимаю! – произнесла Людмила и затем мельком взглянула на Ченцова, словно бы душа ее была с ним, а не с Марфиным, который ничего этого не подметил и хотел было снова заговорить: он никому так много не высказывал своих мистических взглядов и мыслей, как сей прелестной, но далеко не глубоко-мыслящей девушке, и явно, что более, чем кого-либо, желал посвятить ее в таинства герметической философии.

Кадриль, однако, кончилась, и за ней скоро последовала мазурка, которую Ченцов танцевал с Людмилой и, как лучший мазурист, стоял с ней в первой паре. Остроумно придумывая разные фигуры, он вместе с тем сейчас же принялся зубоскалить над Марфиным и его восторженным обожанием Людмилы, на что она не без досады возражала: «Ну, да, влюблена, умираю от любви к нему!» – и в то же время взглядывала и на стоявшего у дверей Марфина, который, опершись на косяк, со сложенными, как Наполеон, накрест руками, и подняв, по своей манере, глаза вверх, весь был погружен в какое-то созерцательное состояние; вылетавшие по временам из груди его вздохи говорили, что у него невесело на душе; по-видимому, его более всего возмущал часто раздававшийся громкий смех Ченцова, так как каждый раз Марфина при этом даже подергивало. Наконец Ченцов вдруг перестал зубоскалить и прошептал Людмиле серьезным тоном:

– Завтра maman ваша уедет в монастырь на панихиду?

– Да, – отвечала она.

– А сестры ваши тоже?

– Да.

– Но вы?

– Я дома останусь!

– Можно приехать к вам?

– Можно! – Это слово Людмила чуть-чуть уж проговорила.

С самого начала мазурки все почти маменьки, за исключением разве отъявленных картежниц, высыпали в залу наблюдать за своими дочками. Все они, по собственному опыту, знали, что мазурка – самый опасный танец, потому что во время ее чувства молодежи по преимуществу разгораются и высказываются. Наша адмиральша, сидевшая до этого в большой гостиной и слегка там, на основании своего чина, тонировавшая, тоже выплыла вместе с другими матерями и начала внимательно всматриваться своими близорукими глазами в танцующих, чтобы отыскать посреди их своих красоточек, но тщетно; ее досадные глаза, сколько она их ни щурила, кроме каких-то неопределенных движущихся фигур, ничего ей не представляли: физическая близорукость Юлии Матвеевны почти превосходила ее умственную непредусмотрительность.

– Где Людмила танцует? – спросила она, не надеясь на собственные усилия, усевшуюся рядом с ней даму, вся и все, должно быть, хорошо видевшую.

– Вон она!.. Вон с Ченцовым танцует! – объяснила ей та.

– Вижу, вижу!.. – солгала ничего не рассмотревшая адмиральша. – А Сусанна?.. – расспрашивала она соседку.

– Да я, мамаша, здесь, около вас!.. – отозвалась неожиданно Сусанна, на всех, впрочем, балах старавшаяся стать поближе к матери, чтобы не заставлять ту беспокоиться.

– Ну, вот где ты!.. – говорила адмиральша, совершенно не понимавшая, почему так случалось, что Сусанна всегда была вблизи ее. – А Муза где?

– Муза с Лябьевым танцует, – ответила Сусанна.

Старуха с удовольствием мотнула головой. Лябьев был молодой человек, часто игравший с Музою на фортепьянах в четыре руки.

Мазурка затянулась часов до четырех, так что хозяин, севший после губернатора играть в пикет с сенаторским правителем дел и сыгравший с ним несколько королей, нашел наконец нужным выйти в залу и, махнув музыкантам, чтобы они перестали играть, пригласил гостей к давно уже накрытому ужину в столовой, гостиной и кабинете. Все потянулись на его зов, и Катрин почти насильно посадила рядом с собой Ченцова; но он с ней больше не любезничал и вместо того весьма часто переглядывался с Людмилой, сидевшей тоже рядом со своим обожателем – Марфиным, который в продолжение всего ужина топорщился, надувался и собирался что-то такое говорить, но, кроме самых пустых и малозначащих фраз, ничего не сказал.

После ужина все стали разъезжаться. Ченцов пошел было за Марфиным.

– Дядя, вы у Архипова в гостинице остановились? – крикнул он ему.

– У Архипова, – отвечал тот неохотно.

– Довезите меня!.. Я там же стою, – у меня нет извозчика, – продолжал Ченцов.

– Негде мне!.. Я на одиночке!.. Сани у меня узкие! – пробормотал Марфин и поспешил уйти: он очень сердит был на племянника за бесцеремонный и тривиальный тон, который позволял себе тот в обращении с Людмилой.

Ченцов стал оглядывать переднюю, чтобы увидеть кого-либо из молодых людей, с которым он мог бы доехать до гостиницы; но таковых не оказалось. Положение его начинало становиться не совсем приятным, потому что семейство Юлии Матвеевны, привезшее его, уже уехало домой, а он приостался на несколько минут, чтобы допить свое шампанское. Идти же с бала пешком совершенно было не принято по губернским приличиям. Из этой беды его выручила одна дама, – косая, не первой уже молодости и, как говорила молва, давнишний, – когда Ченцов был еще студентом, – предмет его страсти.

– Валерьян Николаич, поедемте со мной, я вас довезу, – сказала она, услыхав, что дядя отказал ему в том.

Ченцов сначала было сделал гримасу, но, подумав, последовал за косой дамой и, посадив ее в возок, мгновенно захлопнул за ней дверцы, а сам поместился на облучке рядом с кучером.

– Валерьян Николаич, куда вы это сели?.. Сядьте со мной в возок!.. – кричала ему дама.

– Не могу, я вас боюсь, – отвечал он.

– Чего вы боитесь?.. Что за глупости вы говорите!..

– Вы меня станете там целовать, – объяснил ей Ченцов прямо, невзирая на присутствие кучера.

Дама обиделась, тем более, что у нее вряд ли не было такого намерения, в котором он ее заподозрил.

Когда они ехали таким образом, Ченцов случайно взглянул в левую сторону и увидал комету. Хвост ее был совершенно красный, как бы кровавый. У Ченцова почему-то замерло сердце, затосковало, и перед ним, как бы в быстро сменяющейся камер-обскуре, вдруг промелькнула его прошлая жизнь со всеми ее безобразиями. На несколько мгновений ему сделалось неловко и почти страшно. Но он, разумеется, не замедлил отогнать от себя это ощущение и у гостиницы Архипова, самой лучшей и самой дорогой в городе, проворно соскочив с облучка и небрежно проговорив косой даме «merci», пошел, молодцевато поматывая головой, к парадным дверям своего логовища, и думая в то же время про себя: «Вот дур-то на святой Руси!.. Не орут их, кажется, и не сеют, а они все-таки родятся!»

Иметь такое циническое понятие о женщинах Ченцов, ей-богу, был до некоторой степени (вправе: очень уж они его баловали и все ему прощали!

III

В противуположность племяннику, занимавшему в гостинице целое отделение, хоть и глупо, но роскошно убранное, – за которое, впрочем, Ченцов, в ожидании будущих благ, не платил еще ни копейки, – у Егора Егорыча был довольно темный и небольшой нумер, состоящий из двух комнат, из которых в одной помещался его камердинер, а в другой жил сам Егор Егорыч. Комнату свою он, вставая каждый день в шесть часов утра, прибирал собственными руками, то есть мел в ней пол, приносил дров и затапливал печь, ходил лично на колодезь за водой и, наконец, сам чистил свое платье. Старый камердинер его при этом случае только надзирал за ним, чтобы как-нибудь барин, по слабосильности своей, не уронил чего и не зашиб себя. Вообще Марфин вел аскетическую и почти скупую жизнь; единственными предметами, требующими больших расходов, у него были: превосходный конский завод с скаковыми и рысистыми лошадьми, который он держал при усадьбе своей, и тут же несколько уже лет существующая больница для простого народа, устроенная с полным комплектом сиделок, фельдшеров, с двумя лекарскими учениками, и в которой, наконец, сам Егор Егорыч практиковал и лечил: перевязывать раны, вскрывать пузыри после мушек, разрезывать нарывы, закатить сильнейшего слабительного больному – было весьма любезным для него делом. Приведя в порядок свою комнату, Егор Егорыч с час обыкновенно стоял на молитве, а потом пил чай. В настоящее утро он, несмотря на то, что лег очень поздно, поступил точно так же и часов в девять утра сидел совсем одетый у письменного стола своего. Перед ним лежал лист чистой почтовой бумаги, а в стороне стоял недопитый стакан чаю. Кроме того, на столе виднелись длинные женские перчатки, толстая книга в бархатном переплете, с золотыми ободочками, таковыми же ангелами и надписью на средине доски: «Иегова». Далее на столе лежал ключик костяной, с привязанною к нему медною лопаточкой; потом звезда какая-то, на которой три рога изобилия составляли букву А, и наконец еще звезда более красивой формы, на красной с белыми каймами ленте, представляющая кольцеобразную змею, внутри которой было сияние, а в сиянии – всевидящее око. Ключик и лопаточка были общим знаком масонства; звезда с буквою А – знаком ложи, вторая же чуть ли не была знаком великого мастера.

Приложив руку к нахмуренному лбу, Марфин что-то такое соображал или сочинял и потом принялся писать на почтовом листе крупным и тщательным почерком:

«Высокочтимая сестра!

Вчерашний разговор наш навел меня на размышления о необходимости каждому наблюдать свой темперамент. Я Вам говорил, что всего удобнее человеку делать эти наблюдения в эпоху юности своей; но это не воспрещается и еще паче того следует делать и в лета позднейшие, ибо о прежних наших действиях мы можем судить правильнее, чем о настоящих: за сегодняшний поступок наш часто заступается в нас та страсть, которая заставила нас проступиться, и наш разум, который согласился на то!.. Следуя сему правилу и углубляясь ежедневно в самые затаенные изгибы моего сердца, я усматриваю ясно, что, по воле провидения, получил вместе с греховной природой человека – страсть Аббадоны – гордость! Во всех действиях моих я мню, что буду иметь в них успех, что все они будут на благо мне и ближним, и токмо милосердный бог, не хотящий меня покинуть, нередко ниспосылает мне уроки смирения и сим лишь хоть на время исцеляет мою бедствующую и худую душу от злейшего недуга ее…»

Марфин так расписался, что, вероятно, скоро бы кончил и все письмо; но к нему в нумер вошел Ченцов. Егор Егорыч едва успел повернуть почтовый лист вверх ненаписанной стороной. Лицо Ченцова имело насмешливое выражение. Вначале, впрочем, он довольно ласково поздоровался с дядей и сел.

– Хочешь чаю? – спросил его тот.

– А вам не жаль его будет? – спросил Ченцов.

Марфин с удивлением взглянул на него.

– Вы вчера пожалели же вашей лошади больше, чем меня, – проговорил Ченцов.

Марфин покраснел.

– У меня сани узки, – пробормотал он.

– Ну, полноте на сани сворачивать, – пожалели каурого!.. – подхватил Ченцов. – А это что такое? – воскликнул он потом, увидав на столе белые перчатки. – Это с дамской ручки?.. Вы, должно быть, даму какую-нибудь с бала увезли!.. Я бы подумал, что Клавскую, да ту сенатор еще раньше вашего похитил.

Марфин поспешно взял белые перчатки, а также и масонские знаки и все это положил в ящик стола.

– Да уж не скроете!.. Теперь я видел, и если не расскажу об этом всему городу, не я буду! – продолжал Ченцов.

– Всему миру можешь рассказывать, всему! – сказал ему с сердцем Марфин.

В это время камердинер Егора Егорыча – Антип Ильич, старичок весьма благообразный, румяненький, чисто выбритый, в белом жабо и в сюртуке хоть поношенном, но без малейшего пятнышка, вынес гостю чаю. Про Антипа Ильича все знали, что аккуратности, кротости и богомолья он был примерного и, состоя тоже вместе с барином в масонстве, носил в оном звание титулярного члена[11]. Злившись на дядю, Ченцов не оставил в покое и камердинера его.

– Отче Антипий! – отнесся он к нему. – Правда ли, что вы каждый день вечером ходите в собор молиться тихвинской божией матери?

– Правда!.. – отвечал на это старик совершенно спокойно.

– И правда ли, что вы ей так молитесь: «Матушка!.. Матушка!.. Богородица!.. Богородица!..» – подтрунивал Ченцов.

– Правда! – отвечал и на это спокойно старик.

– И что будто бы однажды пьяный сторож, который за печкой лежал, крикнул вам: «Что ты, старый хрыч, тут бормочешь?», а вы, не расслышав и думая, что это богородица с вами заговорила, откликнулись ей: «А-сь, мать-пресвятая богородица, а-сь?..» Правда?

– Правда! – подтвердил, нисколько не смутившись, Антип Ильич.

Марфин также на этот разговор не рассердился и не улыбнулся.

Ченцова это еще более взорвало, и он кинулся на неповинную уж ни в чем толстую книгу.

– Что это за книжища?.. Очень она меня интересует! – сказал он, пододвигая к себе книгу и хорошо зная, какая это книга.

Марфин строго посмотрел на него, но Ченцов сделал вид, что как будто бы не заметил того.

– Библия! – произнес он, открыв первую страницу и явно насмешливым голосом, а затем, перелистовав около трети книги, остановился на картинке, изображающей царя Давида с небольшой курчавой бородой, в короне, и держащим в руках что-то вроде лиры. – А богоотец оубо Давид пред сенным ковчегом скакаше, играя!

Все это Ченцов делал и говорил, разумеется, чтобы раздосадовать Марфина, но тот оставался невозмутим.

– А что, дядя, царь Давид был выше или ниже вас ростом? – заключил Ченцов.

– Вероятно, выше, – отвечал кротко и серьезно Марфин: он с твердостию выдерживал урок смирения, частию чтобы загладить свою вчерашнюю раздражительность, под влиянием которой он был на бале, а частью и вследствие наглядного примера, сейчас только данного ему его старым камердинером; Марфин, по его словам, имел привычку часто всматриваться в поступки Антипа Ильича, как в правдивое и непогрешимое нравственное зеркало.

[11] То есть члена, который не в состоянии был платить денежных повинностей. (Прим. автора.).

– Напротив, мне кажется!.. – не унимался Ченцов. – Я вот видал, как рисуют – Давид всегда маленький, а Голиаф страшный сравнительно с ним верзило… Удивляюсь, как не он Давида, а тот его ухлопал!

Тут уж Марфин слегка усмехнулся.

– Велика, видно, Федора, да дура! – проговорил он.

Что слова Федора дура относились к Ченцову, он это понял хорошо, но не высказал того и решился доехать дядю на другом, более еще действительном для того предмете.

– Я давно вас, дядя; хотел спросить, действительно ли великий плут и шарлатан Калиостро[12] был из масонов?

Марфин сначала вспыхнул, а потом сильно нахмурился; Ченцов не ошибся в расчете: Егору Егорычу более всего был тяжел разговор с племянником о масонстве, ибо он в этом отношении считал себя много и много виноватым; в дни своих радужных чаяний и надежд на племянника Егор Егорыч предполагал образовать из него искреннейшего, душевного и глубоко-мысленного масона; но, кроме того духовного восприемства, думал сделать его наследником и всего своего материального богатства, исходатайствовав вместе с тем, чтобы к фамилии Ченцов была присоединена фамилия Марфин по тому поводу, что Валерьян был у него единственный родственник мужского пола. Охваченный всеми этими мечтаниями, начинающий уже стареться холостяк принялся – когда Ченцов едва только произведен был в гусарские офицеры – раскрывать перед ним свои мистические и масонские учения. Что касается до самого гусара, то он вряд ли из жажды просвещения, а не из простого любопытства, притворился, что будто бы с готовностью выслушивает преподаваемые ему наставления, и в конце концов просил дядю поскорее ввести его в ложу. Марфин был так неосторожен, что согласился. Валерьян был принят в число братьев, но этим и ограничились все его масонские подвиги: обряд посвящения до того показался ему глуп и смешон, что он на другой же день стал рассказывать в разных обществах, как с него снимали не один, а оба сапога, как распарывали брюки, надевали ему на глаза совершенно темные очки, водили его через камни и ямины, пугая, что это горы и пропасти, приставляли к груди его циркуль и шпагу, как потом ввели в самую ложу, где будто бы ему (тут уж Ченцов начинал от себя прибавлять), для испытания его покорности, посыпали голову пеплом, плевали даже на голову, заставляли его кланяться в ноги великому мастеру, который при этом, в доказательство своего сверхъестественного могущества, глотал зажженную бумагу. Вся эта болтовня вновь принятого брата дошла до некоторых членов ложи. Назначено было экстренное собрание, а там бедного Марфина осыпали целым градом обвинений за то, что он был поручителем подобного негодяя. Егор Егорыч, не меньше своих собратий сознавая свой проступок, до того вознегодовал на племянника, что, вычеркнув его собственноручно из списка учеников ложи, лет пять после того не пускал к себе на глаза; но когда Ченцов увез из монастыря молодую монахиню, на которой он обвенчался было и которая, однако, вскоре его бросила и убежала с другим офицером, вызвал сего последнего на дуэль и, быв за то исключен из службы, прислал обо всех этих своих несчастиях дяде письмо, полное отчаяния и раскаяния, в котором просил позволения приехать, – Марфин не выдержал характера и разрешил ему это. Ченцов явился совершенно убитый и растерянный, так что Егор Егорыч прослезился, увидав его, и сейчас же поспешил заставить себя простить все несчастному, хотя, конечно, прежней любви и доверия не возвратил ему.

– Это несомненно, что великий маг и волшебник Калиостро масон был, – продолжал между тем настоящую беседу Ченцов, – нам это сказывал наш полковой командир, бывший прежде тоже ярым масоном; и он говорил, что Калиостро принадлежал к секте иллюминатов[13]. Есть такая секта?

---

[12] Калиостро Алессандро (настоящее имя Джузеппе Бальзамо, 1743–1795) – знаменитый авантюрист.

[13] Иллюминаты – последователи религиозно-мистического учения Адама Вейсгаупта (1748–1830), основавшего тайное

– Не секта, а союз, который, однако, никогда никто не считал за масонов, – объяснил неохотно Марфин.

– Отчего же их не считают? – допытывался Ченцов.

– Потому что их учение имело всегда революционное, а не примирительное стремление, что прямо противоречит духу масонства, – проговорил с той же неохотой Марфин.

– Это черт их дери!.. Революционное или примирительное стремление они имели! – воскликнул Ченцов. – Но главное, как рассказывал нам полковой командир, они, канальи, золото умели делать: из неблагородных металлов превращать в благородные… Вы знавали, дядя, таких?

– Нет, не знавал, – отвечал с грустной полунасмешкой Марфин.

– Эх, какой вы, право!.. – снова воскликнул Ченцов. – Самого настоящего и хорошего вы и не узнали!.. Если бы меня масоны научили делать золото, я бы какие угодно им готов был совершить подвиги и произвести в себе внутреннее обновление.

– А когда бы ты хоть раз искренно произвел в себе это обновление, которое тебе теперь, как я вижу, кажется таким смешным, так, может быть, и не пожелал бы учиться добывать золото, ибо понял бы, что для человека существуют другие сокровища.

Всю эту тираду Егор Егорыч произнес, поматывая головой и с такою, видимо, верою в правду им говоримого, что это смутило даже несколько Ченцова.

– Ну, это, дядя, вы ошибаетесь! – начал тот не таким уж уверенным тоном. – Золота я и в царстве небесном пожелаю, а то сидеть там все под деревцами и кушать яблочки – скучно!.. Женщины там тоже, должно быть, все из старых монахинь…

– Перестань болтать! – остановил его с чувством тоски и досады Марфин. – Кроме уж кощунства, это очень неумно, неостроумно и несмешно!

– Вам, дядя, хорошо так рассуждать! У вас нет никаких желаний и денег много, а у меня наоборот!.. Заневолю о том говоришь, чем болишь!.. Вчера, черт возьми, без денег, сегодня без денег, завтра тоже, и так бесконечная перспектива idem per idem!..[14] – проговорил Ченцов и, вытянувшись во весь свой длинный рост на стуле, склонил голову на грудь. Насмешливое выражение лица его переменилось на какое-то даже страдальческое.

– И что ж в результате будет?.. – продолжал он рассуждать. – По необходимости продашь себя какой-нибудь корове с золотыми сосками.

Все эти слова племянника Егор Егорыч выслушал сначала молча: видимо, что в нем еще боролось чувство досады на того с чувством сожаления, и последнее, конечно, как всегда это случалось, восторжествовало.

– Разве у тебя нет денег? – спросил он с живостью и заметно довольный тем, что победил себя.

– Ни копейки!.. – отвечал Ченцов.

– Так ты бы давно это сказал, – забормотал, по обыкновению, Марфин, – с того бы и начал, чем городить околесную; на, возьми! – закончил он и, вытащив из бокового кармана своего толстую пачку ассигнаций, швырнул ее Ченцову.

Тот, однако, не брал денег.

– Нет, дядя, я не в состоянии их взять! – отказался он. – Ты слишком великодушен ко мне. Я пришел с гадким намерением сердить тебя, а ты мне платишь добром.

От полноты чувств Ченцов стал даже говорить дяде «ты» вместо «вы».

– Никакого нет тут добра, никакого! – все несвязней и несвязней бормотал Марфин. – Денежные раны не смертельны… нисколько… никому!..

общество в 1776 г.

[14] одно и то же!.. (лат.).

– Как не смертельны!.. Это ты такой бессребреник, а разве много таких людей!.. – говорил Ченцов.

– Много, много! – перебил его Марфин. – Деньги давать легче, чем брать их, – это я понимаю!..

– Ты-то, я знаю, что понимаешь!

Разговор затем на несколько минут приостановился; в Ченцове тоже происходила борьба: взять деньги ему казалось на этот раз подло, а не взять – значило лишить себя возможности существовать так, как он привык существовать. С ним, впрочем, постоянно встречалось в жизни нечто подобное. Всякий раз, делая что-нибудь, по его мнению, неладное, Ченцов чувствовал к себе отвращение и в то же время всегда выбирал это неладное.

– Эх, – вздохнул он, – делать, видно, нечего, надо брать; но только вот что, дядя!.. Вот тебе моя клятва, что я никогда не позволю себе шутить над тобою.

– И не позволяй, не позволяй! – сказал ему на это Марфин, погрозив пальцем.

– Не позволю, дядя, – успокоил его Ченцов, небрежно скомкав денежную пачку и суя ее в карман. – А если бы такое желание и явилось у меня, так я скрою его и задушу в себе, – присовокупил он.

– Ни-ни-ни! – возбранил ему Марфин. – Душевные недуги, как и физические, лечатся легче, когда они явны, и я прошу и требую от тебя быть со мною откровенным.

– Не могу, дядя, очень уж я скверен и развратен!.. Передо мной давно и очень ясно зияет пропасть, в которую я – и, вероятно, невдолге – кувырнусь со всей головой, как Дон-Жуан с статуей командора.

– Вздор, вздор! – бормотал Марфин. – Отчаяние для каждого человека унизительно.

– Что делать, дядя, если впереди у меня ничего другого нет! Прощай!

– Опять тебе повторяю: отчаяние недостойно христианина! – объяснил ему еще раз Марфин.

Но Ченцов ему на это ничего не ответил и быстро ушел, хлопнув сильно дверью.

Оставшись один, Марфин впал в смущенное и глубокое раздумье: голос его сердца говорил ему, что в племяннике не совсем погасли искры добродетели и изящных душевных качеств; но как их раздуть в очищающее пламя, – Егор Егорыч не мог придумать. Он хорошо понимал, что в Ченцове сильно бушевали грубые, плотские страсти, а кроме того, и разум его был омрачен мелкими житейскими софизмами. Придумав и отменив множество способов к исцелению во тьме ходящего родственника, Егор Егорыч пришел наконец к заключению, что веревки его разума коротки для такого дела, и что это надобно возложить на бесконечное милосердие провидения, еже вся содевает и еже вся весть. Успокоившись на сем решении, он мыслями своими обратился на более приятный и отрадный предмет: в далеко еще не остывшем сердце его, как мы знаем, жила любовь к Людмиле, старшей дочери адмиральши. Надежды влюбленного полустарика в этом случае, подобно некогда питаемым чаяниям касательно Валериана, заходили далеко. Егор Егорыч мечтал устроить душу Людмилы по строгим правилам масонской морали, чего, казалось ему, он и достигнул в некоторой степени; но, говоря по правде, им ничего тут, ни на йоту не было достигнуто. Не ограничиваясь этими бескорыстными планами, Егор Егорыч надеялся, что Людмила согласится сделаться его женою и пойдет с ним рука об руку в земной юдоли. С последнею целью им и начато было вышесказанное письмо, которое он окончил так:

«До каких высоких градусов достигает во мне самомнение, являет пример сему то, что я решаюсь послать к Вам прилагаемые в сем пакете белые женские перчатки. По статутам нашего ордена, мы можем передать их лишь той женщине, которую больше всех почитаем. Вас я паче всех женщин почитаю и прошу Вашей руки и сердца. Письмо мое Вы немедля покажите вашей матери, и чтобы оно ни минуты не было для нее тайно. Мать есть второе наше я. В случае, если ответ Ваш будет мне неблагоприятен, не передавайте оного сами, ибо Вы, может быть,

постараетесь смягчить его и поумалить мое безумие, но пусть мне скажет его Ваша мать со всей строгостью и суровостью, к какой только способна ее кроткая душа, и да будет мне сие – говорю это, как говорил бы на исповеди – в поучение и назидание.

Покорный Вам и радеющий об Bac Firma rupes[15]».

Подписанное Егором Егорычем имя было его масонский псевдоним, который он еще прежде открыл Людмиле. Положив свое послание вместе с белыми женскими перчатками в большой непроницаемый конверт, он кликнул своего камердинера. Тот вошел.

– Поди, отвези это письмо… к Людмиле Николаевне… и отдай его ей в руки, – проговорил Егор Егорыч с расстановкой и покраснев в лице до ушей.

– Слушаю-с! – отвечал покорно Антип Ильич; но Марфину почуялись в этом ответе какие-то неодобряющие звуки, тем более, что старик, произнеся слово: слушаю-с, о чем-то тотчас же вздохнул.

«Если не он сам сознательно, то душа его, верно, печалится обо мне», – подумал Марфин и ждал, не скажет ли ему еще чего-нибудь Антип Ильич, и тот действительно сказал:

– Ей самой – вы говорите – надо в руки передать?

– Ей! – ответил ему с усилием над собой Марфин.

Но Антип Ильич этим не удовольствовался и снова спросил:

– А если я их не увижу и горничная ихняя выйдет ко мне, то отдавать ли ей?

На лбу Марфина выступал уже холодный пот.

– Отдай и горничной! – разрешил он, махнув мысленно рукой на все, что из того бы ни вышло.

Антип Ильич, опять о чем-то вздохнув, неторопливо повернулся и пошел.

«Сами ангелы божий внушают этому старику скорбеть о моем безумии!..» – подумал Марфин и вслух проговорил:

– Ты вели себе заложить лошадь.

– Зачем? И пешком дойду, – возразил было Антип Ильич, зная, что барин очень скуп на лошадей; но на этот раз вышло не то.

– Пожалуйста, поезжай, а не пешком иди! – почти умоляющим голосом воскликнул тот.

Егору Егорычу очень хотелось поскорее узнать, что велит ему сказать Людмила, и у него даже была маленькая надежда, не напишет ли она ему письмо.

– Хорошо, лошадь заложат, коли вы приказываете! – отвечал, по-видимому, совершенно флегматически Антип Ильич; но Марфину снова послышалось в ответе старика неудовольствие.

[15] Твердая скала (лат.).

IV

Дом Рыжовых отстоял недалеко от гостиницы Архипова. Ченцов, имевший обыкновение ничего и никого не щадить для красного словца, давно прозвал этот дом за его наружность и за образ жизни, который вели в нем его владельцы, хаотическим домом. Он уверял, что Марфин потому так и любит бывать у Рыжовых, что ему у них все напоминает первобытный хаос, когда земля была еще неустроена, и когда только что сотворенные люди были совершенно чисты, хоть уже и обнаруживали некоторое поползновение к грешку. Во всей этой иронии его была некоторая доля правды: самый дом представлял почти развалину; на его крыше и стенах краска слупилась и слезла; во многих окнах виднелись разбитые и лопнувшие стекла; паркет внутри дома покосился и растрескался; в некоторых комнатах существовала жара невыносимая, а в других – холод непомерный. По большей части часов еще с четырех утра в нем появлялся огонек: это значило, что адмиральша собиралась к заутрени, и ее в этом случае всегда сопровождала Сусанна. Часов с семи начиналось ставление самоваров и нагревание утюгов для разглаживания барышниных юбок, кофточек, воротничков. Завтрак тянулся часов до двух, потому что адмиральша и Сусанна пили чай часу в девятом; Муза – в десять часов и затем сейчас же садилась играть на фортепьяно; а Людмила хоть и не спала, но нежилась в постели почти до полудня, строя в своем воображении всевозможные воздушные замки. Между тем горничные – и все, надобно сказать, молоденькие и хорошенькие – беспрестанно перебегали из людской в дом и из дому в людскую, хихикая и перебраниваясь с чужими лакеями и форейторами, производившими еще спозаранку набег к Рыжовым. Благодаря такой свободе нравов некоторые из горничных, более неосторожные, делались в известном положении, что всегда причиняло большое беспокойство старой адмиральше. Тщательно скрывая от дочерей положение несчастной горничной, она спешила ее отправить в деревню, и при этом не только что не бранила бедняжку, а, напротив, утешала, просила не падать духом и беречь себя и своего будущего ребенка, а сама между тем приходила в крайнее удивление и восклицала: «Этого я от Аннушки (или Паши какой-нибудь) никак не ожидала, никак!» Вообще Юлия Матвеевна все житейские неприятности – а у нее их было немало – встречала с совершенно искренним недоумением. «Что хотите, я этого не думала!.. В голову даже не приходило!» – повторяла она многократно, словно будто бы была молоденькая смольнянка, только что впервые открывшая глаза на божий мир и на то, что в нем творится. Молодые люди ездили к Рыжовым всегда гурьбой и во всякий час дня – поутру, после обеда, вечером. Старуха-адмиральша и все ее дочери встречали обыкновенно этих, иногда очень запоздавших, посетителей, радушно, и барышни сейчас же затевали с ними или танцы, или разные petits jeux[16], а на святках так и жмурки, причем Сусанна краснела донельзя и больше всего остерегалась, чтобы как-нибудь до нее не дотронулся неосторожно кто-либо из молодых людей; а тем временем повар Рыжовых, бывший постоянно к вечеру пьян, бежал в погребок и мясные лавки, выпрашивал там, по большей части в долг, вина и провизии и принимался стряпать ужин. Озлоблению его при этом пределов не было: проклиная бар своих и гостей ихних, он подливал, иногда по неимению, а иногда и из досады, в котлеты, вместо масла, воды; жареное или не дожаривал или совсем пережаривал; в сбитые сливки – вероятно, для скорости изготовления – подбавлял немного мыла; но, несмотря на то, ужин и подаваемое к нему отвратительное вино уничтожались дочиста.

В то утро, которое я буду теперь описывать, в хаотическом доме было несколько потише, потому что старуха, как и заранее предполагала, уехала с двумя младшими дочерьми на панихиду по муже, а Людмила, сказавшись больной, сидела в своей комнате с Ченцовым: он прямо от дяди проехал к Рыжовым. Дверь в комнату была несколько притворена. Но прибыл Антип

[16] светские игры (франц.).

Ильич и вошел в совершенно пустую переднюю. Он кашлянул раз, два; наконец к нему выглянула одна из горничных.

– Мне Людмилу Николаевну нужно видеть… У меня письмо к ним, – проговорил ей Антип Ильич.

– Она не одета еще!.. Дайте, я ей отдам письмо!.. От кого оно?

– От господина моего, – отвечал Антип Ильич, по аккуратности своей не совсем охотно выпуская из рук письмо.

– Сейчас снесу его! – подхватила горничная и юркнула в коридор.

Антип Ильич, увидав в передней залавок, опустился на него и погрузился в размышления. Марфин хоть и подозревал в своем камердинере наклонность к глубоким размышлениям, но вряд ли это было так: старик, впадая в задумчивость, вовсе, кажется, ничего не думал, а только прислушивался к разным болестям своим – то в спине, то в руках, то в ногах. Людмила тем временем стояла около Ченцова, помещавшегося на диване в очень нецеремонной позе и курившего трубку с длинным-длинным чубуком. Запах Жукова табаку сильно наполнял комнату. Ченцов заставлял и Людмилу курить.

– Ну, попробуйте! – говорил он.

Людмила брала из его рук трубку и начинала курить.

– Затягивайтесь!.. Так вот!.. В себя тяните! – приказывал ей Ченцов.

Людмила и это делала, но тут же, закашлявшись, отдавала Ченцову трубку назад.

– Не могу, не могу и никогда не стану больше! – говорила она.

– Что за вздор такой: не можете!.. Я вас непременно приучу, – стоял на своем Ченцов.

Комната Людмилы представляла несколько лучшее убранство, чем остальной хаотический дом: у нее на окнах были цветы; на туалетном красного дерева столике помещалось круглое в резной раме зеркало, которое было обставлено разными красивыми безделушками; на выступе изразцовой печи стояло несколько фарфоровых куколок; пол комнаты был сплошь покрыт ковром. Здесь нельзя умолчать о том, что Юлия Матвеевна хоть и тщательно скрывала это, но Людмилу, как первенцу, любила больше двух младших дочерей своих и для нее обыкновенно тратила последние деньжонки. Между тем в Людмиле была страсть к щеголеватости во всем: в туалете, в белье, в убранстве комнаты; тогда как Сусанна почти презирала это, и в ее спальне был только большой образ с лампадкой и довольно жесткий диван, на котором она спала; Муза тоже мало занималась своей комнатой, потому что никогда почти не оставалась в ней, но, одевшись, сейчас же сходила вниз, к своему фортепьяно.

Одета Людмила на этот раз была в кокетливый утренний капот, с волосами как будто бы даже не причесанными, а только приколотыми шпильками, и – надобно отдать ей честь – поражала своей красотой и миловидностью; особенно у нее хороши были глаза – большие, черные, бархатистые и с поволокой, вследствие которой они все словно бы где-то блуждали… В сущности, все три сестры имели одно общее семейное сходство; все они, если можно так выразиться, были как бы не от мира сего: Муза воздыхала о звуках, и не о тех, которые раздавались в ее игре и игре других, а о каких-то неведомых, далеких и когда-то ею слышанных. Сусанну увлекала религиозная сторона жизни: церковь, ее обряды и больше всего похороны. Стих: «Приидите ко мне, братие и друзие, с последним лобызанием!», или ирмос[17]: «Не рыдай мене, мати, зряще во гробе!» – почти немолчно раздавались в ее ушах. Сусанна, думая, что эти галлюцинации предвещали ей скорую смерть, и боясь тем испугать мать, упорно о том молчала; Людмила же вся жила в образах: еще в детстве она, по преимуществу, любила слушать страшные сказки, сидеть по целым часам у окна и смотреть на луну, следить летним днем за облаками, воображая в них фигуры гор, зверей, птиц. Начитавшись потом, по выходе из института, романов, и по большей части рыцарских, которых Людмила нашла огромное количество в библиотеке

[17] Ирмос – вид богослужебной песни.

покойного отца, она не преминула составить себе идеал мужчины, который, по ее фантазии, непременно долженствовал быть или рыцарь, или сарацин какой-нибудь, вроде Малек-Аделя, или, по крайней мере, красивый кавалерийский офицер. Весьма естественно, что, при таком воззрении Людмилы, Ченцов, ловкий, отважный, бывший гусарский офицер, превосходный верховой ездок на самых рьяных и злых лошадях, почти вполне подошел к ее идеалу; а за этими качествами, какой он собственно был человек, Людмила нисколько не думала; да если бы и думать стала, так не много бы поняла.

Когда горничная, неторопливо и не вдруг отворив дверь, вошла в комнату барышни, то Людмила сейчас же поспешила отойти от Ченцова и немного покраснела при этом.

– Что тебе надобно? – спросила она горничную несвойственным ей строгим тоном.

– Письмо к вам от Егора Егорыча Марфина! – проговорила та, подавая письмо Людмиле, которая ей торопливо проговорила:

– Хорошо, можешь уйти!.. Пусть – кто принес – подождет!

Горничная ушла.

Людмила начала читать письмо, и на лице ее попеременно являлись усмешка, потом удивление и наконец как бы испуг.

Ченцов внимательно следил за нею.

– Что такое может писать к вам мой дядюшка? – спросил он с некоторым нетерпением.

– Ну, уж это не ваше дело, извините! – сказала Людмила.

– Почему ж не мое?.. – воскликнул Ченцов и, вскочив с дивана, стал отнимать у Людмилы письмо, которое, впрочем, она скоро отдала ему.

С первых строк дядиного послания Ченцов начал восклицать:

– Прелесть!.. Прелесть что такое!.. Но к чему однако все это сводится?.. Ба!.. Вот что!.. Поздравляю, поздравляю вас!.. – говорил он, делая Людмиле ручкой.

Та несколько рассердилась на него.

– Но что же вы намерены отвечать на сие письмо? – заключил Ченцов.

– Вы, я думаю, должны это знать!.. – произнесла Людмила, гордо подняв свою хорошенькую головку.

Ченцов самодовольно усмехнулся.

– Но вы, однако, обратите внимание на бесценные выражения вашего обожателя! – продолжал он. – Выражение такого рода, что ему дана, по воле провидения, страсть Аббадоны!.. Ах, черт возьми, этакий плюгавец – со страстью Аббадоны!.. Что он чает и жаждет получить урок смирения!.. Прекрасно!.. Отказывать ему в этом грешно!.. Дайте ему этот урок, и хорошенький!.. Терпите, мол, дедушка; терпели же вы до пятидесяти лет, что всем женщинам были противны, – потерпите же и до смерти: тем угоднее вы господу богу будете… Но постойте: где же его перчатки?.. Покажите мне их!

– Не покажу!.. Над этим нельзя так смеяться!.. – проговорила Людмила и начала довольно сердитой походкой ходить по комнате: красивый лоб ее сделался нахмурен.

– Все равно, я сегодня видел эти перчатки, да мне и самому когда-то даны были такие, и я их тоже преподнес, только не одной женщине, а нескольким, которых уважал.

Тактика Ченцова была не скрывать перед женщинами своих любовных похождений, а, напротив, еще выдумывать их на себя, – и удивительное дело: он не только что не падал тем в их глазах, но скорей возвышался и поселял в некоторых желание отбить его у других. Людмила, впрочем, была, по-видимому, недовольна его шутками и все продолжала взад и вперед ходить по комнате.

– Подойдите ко мне, птичка моя! – заговорил Ченцов вдруг совершенно иным тоном, поняв, что Людмила была не в духе.

Она не подходила.

– Подойдите!.. – прошептал он уже страстно, изменившись в одно мгновение, как хамелеон, из бессердечного, холодного насмешника в пылкого и нежного итальянца; глаза у него загорелись, в лицо бросилась кровь.

– Не подойду! – объявила наконец Людмила.

– Почему?

– Потому что у вас нет белых перчаток!.. Вы их раньше меня другим роздали! – ответила Людмила и грациозно присела перед Ченцовым.

– О, прелесть моя!.. – воскликнул он, простирая к ней руки. – У меня есть белые перчатки!.. Есть!.. И для тебя одной я хранил их!..

– Не верю!..

– Верь, верь и подойди! – повторял Ченцов тихим и вместе с тем исполненным какой-то демонической власти голосом.

Людмила, однако, не слушалась его.

– А что значит для вас mademoiselle Крапчик? – спросила она, подняв опять гордо головку свою.

Ченцов никак не ожидал подобного вопроса.

– Ничего не значит! – отвечал он, не заикнувшись.

– Однако зачем же вы вчера на бале были так любезны с ней?.. И я, Валерьян, скажу тебе прямо… я всю ночь проплакала… всю.

Ченцов всплеснул руками.

– Господи, что же это такое? – произнес он. – Разве такие ангелы, как ты, могут беспокоиться и думать о других женщинах? Что ты такое говоришь, Людмила?!

– А я вот думаю и беспокоюсь, – отозвалась Людмила, улыбаясь и стараясь не смотреть на Ченцова.

– Безумие, – больше ничего!.. Извольте подойти ко мне.

У Людмилы все еще доставало силы не повиноваться ему.

– Людмила, я рассержусь, видит бог, рассержусь! – почти крикнул на нее Ченцов, ударив кулаком по ручке дивана.

Этого Людмила уже не выдержала.

– Ну, вот я и подошла! – сказала она, действительно подходя и став раболепно перед своим повелителем.

Ченцов встрепенулся, привлек к себе Людмилу, и она, как кроткая овечка, упала к нему на грудь. Ченцов начал сжимать ее в своих объятиях, целовать в голову, в шею: чувственный и любострастный зверь в нем проснулся окончательно, так что Людмила с большим усилием успела наконец вырваться из его объятий и убежала из своей комнаты. Ченцов остался в раздраженном, но довольном состоянии. Сбежав сверху, Людмила, взволнованная и пылающая, спросила горничных, где посланный от Марфина, и когда те сказали, что в передней, она вышла к Антипу Ильичу.

Старик, при входе ее, немедля встал и приветствовал барышню почтительным поклоном.

– Ах, это вы! – начала с уважением Людмила и затем несвязно присовокупила: – Кланяйтесь, пожалуйста, Егору Егорычу, попросите у него извинения за меня и скажите, что мамаши теперь дома нет и что она будет ему отвечать!

Антип Ильич хоть и не понял хорошенько ее слов, но тем не менее снова ей почтительно поклонился и ушел, а Людмила опять убежала наверх.

V



Егор Егорыч, ожидая возвращения своего камердинера, был как на иголках; он то усаживался плотно на своем кресле, то вскакивал и подбегал к окну, из которого можно было видеть, когда подъедет Антип Ильич. Прошло таким образом около часу. Но вот входная дверь нумера скрипнула. Понятно, что это прибыл Антип Ильич; но он еще довольно долго снимал с себя шубу, обтирал свои намерзшие бакенбарды и сморкался. Егора Егорыча даже подергивало от нетерпения. Наконец камердинер предстал перед ним.

– Что, какой ответ? – забормотал Егор Егорыч.

– Ответ-с такой… – И Антип Ильич несколько затруднялся, как ему, с его обычною точностью, передать ответ, который он не совсем понял. – Барышня мне сами сказали, что они извиняются, а что маменьки ихней дома нет.

– Но где же маменька ее? – перебил его Егор Егорыч, побледнев в лице: он предчувствовал, что вести нехорошие будут.

– Этого я не знаю-с! – доложил Антип Ильич.

Егор Егорыч вскочил с кресел.

– Как же ты не знаешь?.. Как тебе не стыдно это?!. – заговорил он гневным и плачевным голосом. – Добро бы ты был какой-нибудь мальчик ветреный, но ты человек умный, аккуратный, а главного не узнал!

– Это, виноват, не догадался! – отвечал Антип Ильич, видимо, смущенный. – Если прикажете, я опять сейчас съезжу и узнаю.

– Нельзя этого, нельзя, Антип Ильич! – воскликнул тем же досадливо-плачевным тоном Егор Егорыч. – Из этого выйдет скандал!.. Это бог знает что могут подумать!

Антип Ильич решительно недоумевал, почему барин так разгневался и отчего тут бог знает что могут подумать. Егор Егорыч с своей стороны также не знал, что ему предпринять. К счастию, вошел кучер.

– Лошадь откладывать или нет? – отнесся он негромко к Антипу Ильичу.

– Конечно, откладывать!.. Конечно!.. – подхватил за него Егор Егорыч. – Что, я поеду гулять, что ли, кататься, веселиться!..

Кучера несколько удивили такие странные слова и тон голоса барина.

– Ты не знаешь ли, куда уехала старая адмиральша? – попытался его спросить Антип Ильич.

– Она уехала в Новоспасский монастырь! – объяснил ему кучер.

– Зачем? – вскрикнул, обернувшись к нему лицом, Егор Егорыч.

– Люди сказывали, что панихиду служить по покойном адмирале! – ответил и на это кучер.

– Это тридцать верст отсюда?.. Тридцать верст!.. – кричал Марфин.

– Больше-с, – верст сорок будет! – заметил кучер.

– Будет сорок! – подтвердил и Антип Ильич.

Этим они еще больше рассердили Егора Егорыча.

– Когда ж она возвратится? Через неделю, через две, через месяц? – вскрикивал он, подпрыгивая даже на кресле.

– Нет-с, где же через месяц? – сказал кучер, начинавший уже немного и трусить барина. – А что точно что: они взяли овса и провизии для себя… горничную и всех барышень.

– Как всех барышень? – произнес окончательно опешенный Марфин. – А ты говоришь, что видел барышню? – обратился он с укором к Антипу Ильичу.

– Старшая, Людмила Николаевна, дома! – проговорил тот утвердительно. – Госпожа адмиральша, может, с двумя младшими уехала.

– Надо быть, что с двумя! – сообразил сметливый кучер. – Всего в одном возке четвероместном поехала; значит, если бы еще барышню взяла, – пятеро бы с горничной было, и не уселись бы все!

Егор Егорыч почти не слыхал его слов и в изнеможении закинул голову на спинку кресла: для него не оставалось уже никакого сомнения, что ответ от Рыжовых будет неблагоприятный ему.

– Но не сказала ли тебе еще чего-нибудь Людмила Николаевна? – спросил он снова умоляющим голосом Антипа Ильича.

– Сказали всего только, что сама адмиральша будет вам отвечать! – дополнил Антип Ильич, постаравшийся припомнить до последнего звука все, что говорила ему Людмила.

– Хорошо, будет, ступайте! – сказал Егор Егорыч.

Он спешил поскорее услать от себя прислугу, чтобы скрыть от них невыносимую горечь волновавших его чувствований.

Антип Ильич и кучер ушли.

Чтобы хоть сколько-нибудь себя успокоить, Егор Егорыч развернул библию, которая, как нарочно, открылась на Песне песней Соломона. Напрасно Егор Егорыч, пробегая поэтические и страстные строки этой песни, усиливался воображать, как прежде всегда он и воображал,

что упоминаемый там жених – Христос, а невеста – церковь. Но тут (Егор Егорыч был уверен в том) дьявол мутил его воображение, и ему представлялось, что жених – это он сам, а невеста – Людмила. Егор Егорыч рассердился на себя, закрыл библию и крикнул:

– Заложить мне лошадей, тройку, в пошевни!

Его намерение было ехать к сенатору, чтобы на том сорвать вспыхнувшую в нем досаду, доходящую почти до озлобления, и вместе с тем, под влиянием своих масонских воззрений, он мысленно говорил себе: «Нетерпелив я и строптив, очень строптив!»

Лошади скоро были готовы. Егор Егорыч, надев свой фрак с крестиками, поехал. Гордое лицо его имело на этот раз очень мрачный оттенок. На дворе сенатора он увидал двух будочников, двух жандармов и даже квартального. Все они до мозгу костей иззябли на морозе.

– Стерегут его, точно сокровище какое!.. – сердито пробурчал про себя Марфин.

Сенатор в это время, по случаю беспрерывных к нему визитов и представлений, сидел в кабинете за рабочим столом, раздушенный и напомаженный, в форменном с камергерскими пуговицами фраке и в звезде. Ему делал доклад его оглоданный правитель дел, стоя на ногах, что, впрочем, всегда несколько стесняло сенатора, вежливого до нежности с подчиненными, так что он каждый раз просил Звездкина садиться, но тот, в силу, вероятно, своих лакейских наклонностей, отнекивался под разными предлогами.

Марфин, как обыкновенно он это делал при свиданиях с сильными мира сего, вошел в кабинет топорщась. Сенатор, несмотря что остался им не совсем доволен при первом их знакомстве, принял его очень вежливо и даже с почтением. Он сам пододвинул ему поближе к себе кресло, на которое Егор Егорыч сейчас же и сел.

Правитель дел, кажется, ожидал, что сей, впервые еще являвшийся посетитель поклонится и ему, но, когда Егор Егорыч не удостоил даже его взглядом, он был этим заметно удивлен и, отойдя от стола, занял довольно отдаленно стоявший стул.

– Не были ли мы вместе с вами под Бородиным? – начал сенатор, обращаясь к Марфину. – Фамилия ваша мне чрезвычайно знакома.

– Я был под Бородиным! – отвечал лаконически Егор Егорыч.

– И не были ли вы там ранены?.. Я припоминаю это по своей службе в штабе! – продолжал сенатор, желая тем, конечно, сказать любезность гостю.

– Я был не ранен, а переломил себе только ногу, упав с убитой подо мною лошади! – отчеканил резко Марфин.

– О, это все равно!.. – слегка воскликнул сенатор. – Это такая же рана, как и другие; но скоро однако вы излечились?

– Очень не скоро!.. Сначала я был совершенно хром, и уж потом, когда мы гнали назад Наполеона и я следовал в арьергарде за армией, мне в Германии сказали, что для того, чтобы воротить себе ногу, необходимо снова ее сломать… Я согласился на это… Мне ее врачи сломали, и я опять стал с прямой ногой.

– Вы, видно, владеете большим присутствием духа! – заметил сенатор, опять-таки с целью польстить этому на вид столь миниатюрному господину, но крепкому, должно быть, по характеру.

– Иначе что ж! – возразил Марфин. – Я должен был бы оставить кавалерийскую службу, которую я очень любил.

– Да, мы все тогда любили нашу службу! – присовокупил как бы с чувством сенатор.

Марфин поморщился; его покоробила фраза графа: мы все.

«Кто же эти все? Значит, и сам граф тоже, а это не так!» – сердито подумал он.

– Вы вчера долго оставались на бале? – направил тот будто бы случайно разговор на другой предмет.

– Долго! – отвечал отрывисто Марфин.

– А я, к сожалению, никак не мог остаться… Мне так совестно перед Петром Григорьичем, но у меня столько дел и такие все запутанные, противоречивые!

– В чем вы, собственно, встречаете противоречия? – спросил Марфин.

– Во многом! – ответил сначала неопределенно сенатор. – Михайло Сергеич, я слышу, в зале набралось много просителей; потрудитесь к ним выйти, примите от них прошения и рассмотрите их там! – сказал он правителю дел, который немедля же встал и вышел из кабинета.

Оставшись с глазу на глаз с Марфиным, сенатор приосанился немного и, видимо, готовился приступить к беседе о чем-то весьма важном.

– Главные противоречия, – начал он неторопливо и потирая свои руки, – это в отношении губернатора… Одни утверждают, что он чистый вампир, вытянувший из губернии всю кровь, чего я, к удивлению моему, по делам совершенно не вижу… Кроме того, другие лица, не принадлежащие к партии губернского предводителя, мне говорят совершенно противное…

– Я, граф, сам принадлежу к партии губернского предводителя! – хотел сразу остановить и срезать сенатора Марфин.

– Это я знаю, – подхватил тот уклончиво, – но при этом я наслышан и о вашей полной независимости от чужих мнений: вы никогда и никому не бываете вполне подчинены!.. Такова, pardon, об вас общая молва.

– Молва очень лестная для меня! – проговорил Марфин, насупившись и твердо уверенный, что сенатор нарочно льстит ему, чтобы пообрезать у него когти.

– О, без сомнения! – продолжал сенатор. – А потому мне чрезвычайно было бы важно слышать ваше личное мнение по этому предмету.

– Я уже высказывал и здесь и в Петербурге мое мнение по этому предмету и до сих пор не переменил его, – рубил напрямик Марфин.

– И оно состояло?.. – спросил сенатор.

– Состояло в том, что я считаю губернатора явным и открытым взяточником!

Сенатора заметно покоробило такое резкое выражение Егора Егорыча.

– Есть господа, которые оправдывают его тем, – продолжал тот, – что своего состояния у него нет, жена больна, семейство большое, сыновья служат в кавалергардах; но почему же не в армии?.. Почему?

– О, боже мой!.. – произнес, несколько возвысив голос, сенатор. – Вы даже то, что сыновья губернатора служат в гвардии, и то ставите ему в вину.

– Ставлю, потому что он ради этого нами властвует, как воевода, приехавший к нам на кормление.

– Но чем же можно доказать, что он похож на воеводу?

– Можно-с, но мне гадко повторять, что об нем рассказывают: ни один воз с сеном, ни одна барка с хлебом не смеют появиться в городе, не давши ему через полицмейстера взятки.

– И вы сами бывали свидетелем чего-нибудь подобного?

– Фи!.. – произнес с гримасой Марфин. – Буду я свидетелем этого!.. Если бы и увидал даже, так отвернулся бы.

– Но на слова других нельзя безусловно полагаться.

– Отчего нельзя?.. Отчего? – почти уже закричал Марфин. – Это говорят все, а глас народа – глас божий.

– Не всегда, не говорите этого, не всегда! – возразил сенатор, все более и более принимая величавую позу. – Допуская, наконец, что во всех этих рассказах, как во всякой сплетне, есть малая доля правды, то и тогда раскапывать и раскрывать, как вот сами вы говорите, такую грязь тяжело и, главное, трудно… По нашим законам человек, дающий взятку, так же отвечает, как и берущий.

– Ну, трудность бывает двух сортов! – снова воскликнул Марфин, хлопнув своими ручками и начав их нервно потирать. – Одна трудность простая, когда в самом деле трудно открыть, а другая сугубая!..

Фразы этой, впрочем, не договорил Егор Егорыч, да и сенатор, кажется, не желал слышать ее окончания, потому что, понюхав в это время табаку из своей золотой, осыпанной брильянтами, табакерки, поспешил очень ловко преподнести ее Егору Егорычу, проговорив:

– Не угодно ли?

– Не нюхаю! – отвечал тот отрывисто, но на табакерку взглянул и, смекнув, что она была подарок из дворцового кабинета, заподозрил, что сенатор сделал это с умыслом, для внушения вящего уважения к себе: «Вот кто я, смотри!» – и Марфин, как водится, рассердился при этой мысли своей.

– Я-с человек частный… ничтожество!.. – заговорил он прерывчатым голосом. – Не мое, может быть, дело судить действия правительственных лиц; но я раз стал обвинителем и докончу это… Если справедливы неприятные слухи, которые дошли до меня при приезде моем сюда, я опять поеду в Петербург и опять буду кричать.

Сенатор величаво улыбнулся.

– Крикун же вы! – заметил он. – И чего же вы будете еще требовать от Петербурга, – я не понимаю!.. Из Петербурга меня прислали ревизовать вашу губернию и будут, конечно, ожидать результатов моей ревизии, которых пока никто и не знает, ни даже я сам.

У Марфина вертелось на языке сказать: «Не хитрите, граф, вы знаете хорошо, каковы бы должны быть результаты вашей ревизии; но вы опутаны грехом; вы, к стыду вашему, сблизились с племянницей губернатора, и вам уже нельзя быть между им и губернией судьей беспристрастным и справедливым!..» Однако привычка сдерживать и умерять в себе гневливость, присутствия которой в душе Егор Егорыч не любил и боялся больше всего, хотя и подпадал ей беспрестанно, восторжествовала на этот раз, и он ограничился тем, что, не надеясь долго совладеть с собою, счел за лучшее прекратить свой визит и начал сухо раскланиваться.

Сенатор, по своей придворной тактике, распростился с ним в высшей степени любезно, и только, когда Егор Егорыч совсем уже уехал, он немедля же позвал к себе правителя дел и стал ему пересказывать с видимым чувством досады:

– Вообразите, этот пимперле[18] приезжал пугать меня!

Правитель дел, считавший своего начальника, равно как и самого себя, превыше всяких губернских авторитетов, взглянул с некоторым удивлением на графа.

– Чем же он вас пугал? – спросил он.

– Да определительно и сказать нельзя – чем, но пугал, что вот он получил здесь какие-то слухи неприятные и что поедет кричать об этом в Петербурге.

Сенатор, в сущности, очень хорошо понял, о каких слухах намекал ему Марфин.

– О ком и о чем слухи? – поинтересовался правитель дел, вероятно, несколько опасавшийся, что нет ли и об его личных действиях каких-нибудь толков.

– Не сказал!.. Все это, конечно, вздор, и тут одно важно, что хотя Марфина в Петербурге и разумеют все почти за сумасшедшего, но у него есть связи при дворе… Ему племянницей, кажется, приходится одна фрейлина там… поет очень хорошо русские песни… Я слыхал и видал ее – недурна! – объяснил сенатор а затем пустился посвящать своего наперсника в разные тонкие комбинации о том, что такая-то часто бывает у таких-то, а эти, такие, у такого-то, который имеет влияние на такого-то.

Тема на этот разговор была у графа неистощимая и весьма любимая им. Что касается до правителя дел, то хотя он и был по своему происхождению и положению очень далек от придворного круга, но тем не менее понимал хорошо, что все это имеет большое значение, и

[18] Очень маленькая и самая резвая куколка в немецком кукольном театре, объезжавшем тогда всю Россию. (Прим. автора.).

вследствие этого призадумался несколько. Его главным образом беспокоило то, что Марфин даже не взглянул на него, войдя к сенатору, как будто бы презирал, что ли, его или был за что-то недоволен им.

– Могу я докладывать? – спросил он, видя, что сенатор больше уже не желает говорить.

– О, пожалуйста! – ответил тот и для освежения мозга понюхал табаку из своей золотой табакерки.

Правитель дел начал доклад, по обыкновению, стоя.

– Дело по жалобе на устройство городничим Надеждиным рыбных садков в свою пользу! – заговорил он ровным и бесстрастным голосом.

– Проделки этого господина вопиющие! – перебил его сенатор. – Мне говорили об них еще в Петербурге!.. Заставлять обывателей устраивать ему садки, – это уж и не взятка, а какая-то натуральная повинность!

– В Петербурге, мне кажется, ваше сиятельство, ошибочно взглянули на это дело! – возразил с некоторым одушевлением правитель дел. – Городничий вызван нами.

– Знаю я! – подхватил сенатор, очень довольный тем, что знал это.

– Он был у меня!.. – доложил правитель дел, хотя собственно он должен был бы сказать, что городничий представлялся к нему, как стали это делать, чрез две же недели после начала ревизии, почти все вызываемые для служебных объяснений чиновники, являясь к правителю дел даже ранее, чем к сенатору, причем, как говорили злые языки, выпадала немалая доля благостыни в руки Звездкина.

– Городничий мне доставил, – продолжал он, – собранные им удостоверения от местных обывателей, – вот они!

И правитель дел показал целую кипу бумаг, при одном виде которых сенатор обмер.

– Но что такое в них говорится? – поспешил он спросить.

– Говорится во всех одно и то же! – отвечал правитель дел и, взяв будто бы на выдержку одну из бумаг, начал ее читать буквально:

– «Я, нижеподписавшийся, второй гильдии купец и рыбопромышленник, сим удостоверяю, что по здешним ценам устройство рыбного садка, с посадкою в оный рыбы, стоит пять рублей на ассигнации».

– Как пять рублей?! – воскликнул сенатор. – А в Петербурге что он стоит?

– В Петербурге дороже, да там и велики они очень, а садок городничего всего сажень в длину и в ширину.

– Фу ты, боже мой! – произнес сенатор, пожимая плечами. – Вот и суди тут!.. Как же все это не противно и не скучно?..

Правитель дел молчал, вовсе не находя с своей стороны в службе ничего ни противного, ни скучного.

– Бросить это дело; оно выеденного яйца не стоит!.. – приказал сенатор.

Правитель дел поспешно написал на первоначальной бумаге резолюцию: оставить без последствий, и предложил ее к подписи сенатору, который, не взглянув даже на написанное, подмахнул: «Ревизующий сенатор граф Эдлерс».

– Далее какие дела?.. – сказал он.

– Далее дело об кадке капусты и об заседателе земского суда Дрыгине.

При этом ответе правитель дел не удержался и усмехнулся.

– Как об капусте и об Дрыгине?.. Что такое это? – проговорил сенатор с недоумением: он этого дела уже не помнил.

– Господин Дрыгин сам здесь!.. Угодно вам его видеть? – доложил правитель дел.

– Но, может быть, он какой-нибудь грубый, пьяный? – заметил с брезгливостью сенатор.

– Напротив, он из отставных военных! – сказал правитель дел.

Сенатор поуспокоился.

– А в чем Дрыгин обвиняется? – нашел он нужным узнать.

– В том, что при проезде через деревню Ветриху он съел там целый ушат кислой капусты.

Сенатор окончательно был озадачен.

– Mon Dieu, mon Dieu![19] – произнес он, вскидывай глаза к небу.

Правитель дел поспешил позвать заседателя из залы, и когда тот вошел, то оказался тем отчисленным от службы заседателем, которого мы видели на балу у предводителя и который был по-прежнему в ополченском мундире. Наружный вид заседателя произвел довольно приятное впечатление на графа.

– Вы обвиняетесь в том, что при проезде через деревню Ветриху съели целый ушат капусты, – следовало бы договорить сенатору, но он не в состоянии был того сделать и выразился так: – Издержали ушат капусты.

– Ваше высокопревосходительство! – начал Дрыгин тоном благородного негодования. – Если бы я был не человек, а свинья, и уничтожил бы в продолжение нескольких часов целый ушат капусты, то умер бы, а я еще жив!

Сенатор покраснел.

– Почему же на вас такой извет? – сказал он, стараясь не утратить некоторой строгости.

– Деревня Ветриха, как, может быть, небезызвестно вашему высокопревосходительству, принадлежит губернскому предводителю, который давно мой гонитель…

Проговорив это, Дрыгин почтительно склонил перед сенатором голову.

Здесь я, впрочем, по беспристрастию историка, должен объяснить, что, конечно, заседатель не съел в один обед целого ушата капусты, но, попробовав ее и найдя очень вкусною, велел поставить себе в сани весь ушат и свез его своей жене – большой хозяйке.

– А между тем, ваше высокопревосходительство, – продолжал Дрыгин с тем же оттенком благородного негодования, – за эту клевету на меня я отозван от службы и, будучи отцом семейства, оставлен без куска хлеба.

Сенатор взглянул на своего правителя.

– Отозван-с! – подтвердил тот, угадав взгляд начальника.

– Вы можете отправляться к вашей должности! – отнесся сенатор к Дрыгину, который вспыхнул даже от радости.

– Ваше высокопревосходительство! – начал он, прижимая руку к сердцу, но более того ничего не мог высказать, а только, сморгнув навернувшиеся на глазах его слезы, поклонился и вышел.

Сенатор остался совсем взбудораженный.

– Я теперь припоминаю, что я отозвал этого несчастного по просьбе губернского предводителя! – признался он своему правителю.

– Может быть-с! – отозвался тот уклончиво.

– Непременно со слов Крапчика! – подхватил сенатор. – Он, я вам говорю, какой-то злой дух для меня!.. Все, что он мне ни посоветовал, во всем я оказываюсь глупцом!.. Я велю, наконец, не пускать его к себе.

Правитель дел потупился, заранее уверенный, что если бы Крапчик сию же минуту к графу приехал, то тот принял бы его только что не с распростертыми объятиями: очень опытный во всех мелких чиновничьих интригах, Звездкин не вполне понимал гладко стелющую манеру обхождения, которой держался его начальник.

Покончив с заседателем, сенатор хотел было опять приступить к слушанию дела, но в это время вошел в кабинет молодой человек, очень благообразный из себя, франтоватый и привезенный сенатором из Петербурга в числе своих канцелярских чиновников. Молодой человек этот был в тот день дежурным.

---

[19] Боже, боже! (франц.).

– Excellence, madame Klavsky est venue vous cher-cher et vous engage de faire une promenade![20] – доложил он, грассируя несколько голосом.

– Tout de suite, mon cher!.. Dites a madame que je suis a elle dans un instant!..[21] – воскликнул радостно сенатор и с несвойственною старикам поспешностью побежал в гардеробную изменить несколько свой туалет.

[20] Ваше высокопревосходительство, мадам Клавская заехала за вами и предлагает вам прогуляться! (франц.).

[21] Сейчас, мой милый!.. Скажите мадам, что через минуту я в ее распоряжении! (франц.).

VI

М-me Клавская в это время, вся в соболях и во всем величии своей полноватой красоты, сидела очень спокойно в парных санях, которые стояли у сенаторского подъезда. Ченцов давно еще сочинил про нее такого рода стихотворение:

Madame Клавская бабица
Вальсирует на заказ
И, как юная вдовица,
Ищет мужа среди нас;
Но мы знаем себе цену
И боимся ее плену.

Клавская действительно прежде ужасно кокетничала с молодыми людьми, но последнее время вдруг перестала совершенно обращать на них внимание; кроме того, и во внешней ее обстановке произошла большая перемена: прежде она обыкновенно выезжала в общество с кем-нибудь из своих родных или знакомых, в туалете, хоть и кокетливом, но очень небогатом, а теперь, напротив, что ни бал, то на ней было новое и дорогое платье; каждое утро она каталась в своем собственном экипаже на паре серых с яблоками жеребцов, с кучером, кафтан которого кругом был опушен котиком. Все это некоторые объясняли прямым источником из кармана сенатора, а другие – тем, что к m-me Клавской одновременно со Звездкиным стали забегать разные чиновники, которым угрожала опасность по ревизии; но, как бы то ни было, в одном только никто не сомневался: что граф был от нее без ума.

– Madame, me parmettrez vous de prendre place aupres de vous?[22] – говорил он почти раболепным голосом, выбежав к ней в настоящее утро на рундучок своего крыльца.

– Pourquoi pas[23], – отвечала ему ужаснейшим прононсом Клавская и пододвинулась к одной стороне саней.

Сенатор сел с ней рядом, и лошади понесли их по гладким улицам губернского города. Когда они проезжали невдалеке от губернаторского дома, то Клавская, все время закрывавшая себе муфтой лицо от холода, проговорила негромко:

– Заедемте, пожалуйста, к дяде позавтракать!.. Он очень, бедный, расстроен и будет утешен вашим визитом… Повар у него отличный!

Сенатор на первых порах поморщился немного.

– Я очень уважаю вашего дядю, и мне от души его жаль, но заезжать к нему, comprenez vous[24]… Он губернатор здешний, я – ревизующий сенатор.

Говоря это, он, кажется, трепетал от страха, чтобы не рассердить очень своим отказом Клавскую.

– Полноте, что за мелочи! – возразила она ему убеждающим и нежным тоном. – Кого и чего вы опасаетесь? Если не для дяди, так для меня заедемте к нему, – я есть хочу!

– Извольте, извольте!.. – не выдержал долее граф. – Я для вас готов быть у старика… Он, я знаю, не так виноват, как говорят про него враги его.

– Ах, он ангел! – воскликнула Клавская. – И если за что страдает, так за доброту свою!.. – присовокупила она и остановила муфтой кучера у губернаторского подъезда.

---

[22] Мадам, вы позволите мне занять место возле вас? (франц.).

[23] Почему же нет (франц.).

[24] видите ли… (франц.).

Сенатор выскочил из саней первый, и в то время, как он подавал руку Клавской, чтобы высадить ее, мимо них пронесся на своей тройке Марфин и сделал вид, что он не видал ни сенатора, ни Клавской. Те тоже как будто бы не заметили его.

Егор Егорыч, чтобы размыкать гложущую его тоску, обскакал почти весь город и теперь ехал домой; но тут вдруг переменил намерение и велел кучеру везти себя к губернскому предводителю, с которым ему главным образом желалось поделиться снова вспыхнувшим в его сердце гневом. Услыхав от лакея, что Крапчик был еще в спальне, Егор Егорыч не стеснился этим и направился туда. Губернский предводитель в это время, сидя перед своей конторкой, сводил итоги расходам по вчерашнему балу и был, видимо, не в духе: расходов насчитывалось более чем на три тысячи. Марфин влетел к нему, по обыкновению, вихрем, так что губернский предводитель немножко даже вздрогнул.

– Какими судьбами? – произнес он.

Марфин бросил небрежно свою шапку на диванчик и принялся ходить по комнате.

– Сейчас я был у сенатора и убедился, что он старая остзейская лиса и больше ничего! – сказал он.

– Стало быть, вы объяснялись с ним о чем-нибудь? – спросил губернский предводитель со свойственным ему в известных случаях любопытством.

– Объяснялся… Граф сам первый начал и спросил, что за человек губернатор? Я говорю: он дрянь и взяточник!

Губернский предводитель с удовольствием усмехнулся.

– Что же граф на это?

– Граф говорит, что нет и что он об губернаторе слышал много хорошего от людей, не принадлежащих к вашей партии!

– Моей партии? – переспросил губернский предводитель с недоумением и отчасти с неудовольствием.

– Ну, вашей, моей, как хотите назовите! – кипятился Марфин. – Но это все еще цветочки!.. Цветочки! Ягодки будут впереди, потому что за пять минут перед сим, при проезде моем мимо палат начальника губернии, я вижу, что monsieur le comte et madame Klavsky[25] вдвоем на парных санях подкатили к дверям его превосходительства и юркнули в оные.

Губернский предводитель развел руками.

– Странно!.. – сказал он. – Граф до сегодня был у губернатора всего один раз, отплачивая ему визит.

– Но я не лгу же это и не выдумываю!.. Я собственными глазами видел и monsieur comt'a и Клавскую, и это им даром не пройдет!.. Нет!.. Я завтра же скачу в Петербург и все там разблаговещу, все!..

Губернский предводитель соображал некоторое время.

– Не советую, – проговорил он, – это будет слишком поспешно с вашей стороны и бесполезно для самого дела!

– Но вы в этом случае – поймите вы – совершенно сходитесь в мнениях с сенатором, который тоже говорит, что я слишком спешу, и все убеждал меня, что Петербург достаточно уже облагодетельствовал нашу губернию тем, что прислал его к нам на ревизию; а я буду там доказывать, что господин граф не годится для этого, потому что он плотоугодник и развратник, и что его, прежде чем к нам, следовало послать в Соловки к какому-нибудь монаху для напутствования и назидания.

– Всему этому только улыбнутся в Петербурге, – начал было губернский предводитель, но, заметив, что Марфин готов был вспетушиться, поторопился присовокупить: – Вы только, пожалуйста, не сердитесь и выслушайте меня, что я вам доложу. По-моему, напротив, надобно

[25] господин граф и мадам Клавская (франц.).

дать полное спокойствие и возможность графу дурачиться; но когда он начнет уже делать незаконные распоряжения, к которым его, вероятно, только еще подготовляют, тогда и собрать не слухи, а самые дела, да с этим и ехать в Петербург. И я, если вы позволите, поеду с вами: вы – как человек известный там, а я – в качестве губернского предводителя здешнего дворянства.

Марфин начинал понимать практическую справедливость Крапчика, но все-таки не мог с ним вдруг согласиться.

– Но где ж мы узнаем эти дела? Не таскаться же по всем канцеляриям!.. Мы, слава богу, не французские стряпчие.

– Вы об этом не беспокойтесь! Все узнается по городским слухам подробно и с полною достоверностью, – за это я вам ручаюсь, – и смотрите, что может произойти!.. Вы вашим влиянием вызвали ревизию над губернатором, а потом мы сообща, может быть, накличем острастку и на сенатора.

От последней мысли своей губернский предводитель даже в лице расцвел, но Марфин продолжал хмуриться и сердиться. Дело в том, что вся эта предлагаемая Крапчиком система выжидания и подглядывания за сенатором претила Марфину, и не столько по исповедуемой им религии масонства, в которой он знал, что подобные приемы допускались, сколько по врожденным ему нравственным инстинктам: Егор Егорыч любил действовать лишь прямо и открыто.

– Не лучше ли, – начал он с глубокомысленным выражением в лице, и видимо, придумав совершенно другой способ, – не лучше ли, чем строить козни, написать этому старому дураку строго-моральное письмо, в котором напомнить ему об его обязанностях христианина и гражданина?

Крапчик втайне готов был фыркнуть, услыхав такое измышление Егора Егорыча, но, разумеется, воздержался и только с легкою полуулыбкою возразил:

– Разве подобное письмо подействует на столь зачерствелого человека и испугает его?

– Это так!.. Так! – согласился и Марфин, воображению которого точно нарочно почти въявь представилась котообразная фигура сенатора, да еще высаживающего из саней под ручку m-me Клавскую.

– Прощайте! – сказал он затем, торопливо хватая свою шапку.

– Куда же вы?.. Оставайтесь у нас обедать! – стал было удерживать его хозяин.

– Не могу, и есть ничего не хочу! – отговаривался Марфин.

– Но позвольте, по крайней мере, мне послать сказать Катрин, что вы здесь, а то она мне будет выговаривать, что я не оповестил ее об вас.

– Нет, некогда, некогда! – бормотал Марфин, и, проговорив еще раз «прощайте!», уехал.

– Сумасшедший торопыга! – произнес Крапчик, оставшись один и снова принимаясь просматривать счет, но вошел лакей и доложил, что приехал новый гость – Ченцов.

– Зачем и кто его принял? – крикнул Крапчик.

– Я-с, – ответил, сробев, лакей.

– Дурак! Ну, пойди и скажи, что выйду в кабинет…

Лакей ушел. Крапчик, поприбрав несколько на конторке свои бумаги, пошел неохотно в кабинет, куда вместе с ним торопливо входила и Катрин с лицом еще более грубоватым, чем при вечернем освещении, но вместе с тем сияющим от удовольствия.

– Вы, надеюсь, обедаете у нас? – было первое слово ее гостю.

– Обедаю, – отвечал Ченцов.

Крапчик же едва удостоил сказать ему:

– Здравствуйте!

Катрин была уверена, что божественный Ченцов (она иначе не воображала его в своих мечтах) явился собственно для нее, чтобы исполнить ее приказание приехать к ним с утра, но расчет m-lle Катрин оказался при самом начале обеда неверен.

– Мы сыграем сегодня с вами? – спросил Ченцов хозяина.

Выражение глаз того стало не столь сердито.

– Сыграем, если хотите, – отвечал он, впрочем, совершенно бесстрастно.

M-lle Катрин побледнела.

– Но как же вы мне еще вчера сказали, что не будете играть? – проговорила она Ченцову.

– Язык на то и дан человеку, чтобы лгать! – отшутился он.

– Правило прекрасное! – заметила Катрин и надулась; Крапчик же заметно сделался любезнее с своим гостем и стал даже подливать ему вина. Ченцов, с своей стороны, хоть и чувствовал, что Катрин сильно им недовольна, но что ж делать? Поступить иначе он не мог: ощутив в кармане своем подаренные дядею деньги, он не в силах был удержаться, чтобы не попробовать на них счастия слепой фортуны, особенно с таким золотым мешком, каков был губернский предводитель.

После обеда гость и хозяин немедля уселись в кабинете за карточный стол, совершенно уже не обращая внимания на Катрин, которая не пошла за ними, а села в маленькой гостиной, находящейся рядом с кабинетом, и велела подать себе работу – вязание бисерного шнурка, который она думала при каком-нибудь мало-мальски удобном предлоге подарить Ченцову.

Между играющими начался, как водится, банк. Если бы кто спросил, в чем собственно состоял гений Крапчика, то можно безошибочно отвечать, что, будучи, как большая часть полувосточных человеков, от природы зол, честолюбив, умен внешним образом, без всяких о чем бы то ни было твердых личных убеждений. Он главным своим призванием на земле имел – быть банкометом какого-нибудь огромного общеевропейского банка. Несмотря на то, что Петр Григорьич почти каждодневно играл в банк или другие азартные игры, но никто еще и никогда не заметил на черномазом лице его, выигрывает он или проигрывает. Карты обыкновенно Крапчик клал медленно, аккуратно, одна на другую, как бы о том только и помышляя, но в то же время все видел и все подмечал, что делал его партнер, и беспощаднейшим образом пользовался малейшей оплошностью того. В настоящем случае повторилось то же самое. Крапчик прежде всего выложил на стол три тысячи рублей серебром и стал метать. Ченцов, севший играть с восемьюстами рублей (хорошо еще, что он предварительно заплатил хозяину гостиницы двести рублей), начал горячиться; видимые им около предводителя три тысячи рублей ужасно его раздражали. Счастие на первых порах ему повезло: он сразу взял карту, загнул ее и взял вторую; загнув на весь выигрыш, не отписав из него ничего, снова взял, и когда поставил на червонную даму, чуть ли не имея при этом в виду миловидный и выразительный облик Людмилы, то Крапчик заметил ему:

– Вы ничего не оставляете себе?

– Ничего! – отвечал небрежно Ченцов и выиграл карту; тут уж он потянул из денег предводителя значительную пачку. Крапчик только молча наблюдал, правильно ли Ченцов отсчитывает себе деньги, на которые тот положил прежнюю червонную даму.

– Вся сумма идет? – сказал Крапчик.

– Вся!.. Гну-с!.. – воскликнул Ченцов, и голос его при этом слегка дрогнул, а по лицу пробежало какое-то страдальческое ощущение.

Крапчик убил эту карту и тотчас же придвинул к себе всю выигранную у него Ченцовым сумму и метать не продолжал.

– Угодно вам заплатить мне проигрыш? – спросил он после короткого молчания.

– Затруднительно мне это! – произнес протяжно и комическим тоном Ченцов.

Крапчика поразил несколько такой ответ.

– Но на что же вы играли, если не имели денег? – проговорил он глухим голосом.

– Я-то видел, на что играл!

И Ченцов указал пальцем на лежавшие перед хозяином деньги.

– А вот вы на что играли, я не знаю! – присовокупил он.

Крапчик на это ничего не сказал и принялся молча собирать раскиданные карты в колоду.

Ченцов наконец захохотал.

– Я пошутил, – вот вам! – воскликнул он и выкинул из кармана все дядины деньги, которые Крапчик аккуратно пересчитал и заявил:

– Здесь недостает более двухсот рублей!

– Заплачу их вам завтра же! – подхватил, слегка покраснев, Ченцов и попросил дать ему вина.

Хозяин позвал лакея и велел ему принести бутылку шампанского. Ченцов сейчас же принялся пить из нее и выпил почти всю залпом.

– А не хотите ли вы сыграть со мной в долг? – сказал он, видимо, сжигаемый неудержимою страстью к игре.

Крапчик подумал немного.

– Но кто же мне за вас заплатит в случае проигрыша? – спросил он.

– Дядя!.. Полагаю, что он не захочет, чтобы меня посадили в тюрьму, или чтобы я пустил себе пулю в лоб? – отвечал Ченцов.

Крапчик еще некоторое время подумал.

– Извольте!.. – сказал он и, кликнув лакея, приказал ему принести новую бутылку шампанского.

Катрин, не проронившая ни одного звука из того, что говорилось в кабинете, негромко велела возвращавшемуся оттуда лакею налить и ей стакан шампанского. Тот исполнил ее приказание и, когда поставил начатую бутылку на стол к играющим, то у Крапчика не прошло это мимо глаз.

– Отчего она не полна? – сказал он лакею, показывая на бутылку.

– Катерине Петровне я налил стакан, – объяснил тот почтительно.

Крапчик поморщился, а Ченцов вскрикнул:

– Браво, mademoiselle Катрин! Пожалуйте сюда и чокнемтесь.

– Не хочу я с вами чокаться! – отказалась Катрин: голос ее был печален.

Игра между партнерами началась и продолжалась в том же духе. Ченцов пил вино и ставил без всякого расчета карты; а Крапчик играл с еще более усиленным вниманием и в результате выиграл тысяч десять.

– Ну, будет! – забастовал он наконец.

– Мне поэтому надобно дать вам заемное письмо? – проговорил, почти смеясь, Ченцов: выпитое вино немало способствовало его веселому настроению духа.

– Да, уж потрудитесь, – отвечал Крапчик и, вынув из письменного стола нужный для писем этого рода гербовый лист, подал его вместе с пером и чернильницей Ченцову, который, в свою очередь, тоже совершенно спокойно и самым правильным образом написал это заемное письмо: он привык и умел это делать. Получив обязательство и положив его в карман, Крапчик ожидал и желал, чтобы гость убирался; но Ченцов и не думал этого делать; напротив, оставив хозяина в кабинете, он перешел в маленькую гостиную к Катрин и сел с нею рядом на диване. Крапчику это очень не понравилось. Как бы не зная, что ему предпринять, он тоже вышел в маленькую гостиную и отнесся к дочери:

– Ты разве еще не хочешь спать?

– Нет, – произнесла та грубо и отрывисто.

– Мы еще будем ужинать с mademoiselle Катрин! – поддержал ее Ченцов. – Vous voulez, que je soupe avec vous?[26] – обратился он к ней.

– Хочу! – ответила и ему лаконически Катрин.

Крапчик, понурив, как бык, головою, ушел к себе в спальню.

[26] Вы хотите, чтобы я с вами поужинал? (франц.).

Катрин распорядилась, чтобы дали им тут же на маленький стол ужин, и когда принесший вино и кушанье лакей хотел было, по обыкновению, остаться служить у стола и встать за стулом с тарелкой в руке и салфеткой, завязанной одним кончиком за петлю фрака, так она ему сказала:

– Можешь уйти!.. Я позову, когда нужно будет.

Лакей исполнил это приказание. Ченцов слушал с какой-то полуулыбкой все эти распоряжения Катрин.

– Вы проигрались? – заговорила она.

– И очень даже сильно! – не потаил Ченцов.

– Но зачем же вы играли с отцом? Вы знаете, какой он опытный и спокойный игрок, а вы ребенок какой-то сравнительно с ним.

– О, черт бы его драл! – отозвался без церемонии Ченцов. – Я игрывал и не с такими еще господами… почище его будут!.. Стоит ли об этом говорить! Чокнемтесь лучше, по крайней мере, хоть теперь!.. – присовокупил он, наливая по стакану шампанского себе и Катрин.

Она покорно чокнулась с ним, выпила вино и проговорила, беря себя за голову:

– Ах, я не знаю, что вы способны со мною сделать!.. – Я с женщинами обыкновенно делаю то, что они сами желают! – возразил Ченцов.

– Да, но вы их завлекаете, а это еще хуже! – заметила Катрин.

– Вы полагаете? – спросил не без самодовольства Ченцов.

– Полагаю! – произнесла с ударением Катрин.

Ченцов очень хорошо видел, что в настоящие минуты она была воск мягкий, из которого он мог вылепить все, что ему хотелось, и у него на мгновение промелькнула было в голове блажная мысль отплатить этому подлецу Крапчику за его обыгрыванье кое-чем почувствительнее денег; но, взглянув на Катрин, он сейчас же отказался от того, смутно предчувствуя, что смирение ее перед ним было не совсем искреннее и только на время надетая маска.

– А вы знаете, я вас боюсь! – высказал он ей тут же прямо.

– Отчего? – полувоскликнула Катрин.

– Оттого, что вы похожи на меня!..

– Я знаю, что похожа, но не боюсь вас!..

– А я, видит аллах, боюсь точно так же, как боюсь и вашего отца в картах.

– Нет, вы меня не бойтесь!.. Отца, пожалуй, вы должны опасаться, потому что он не любит вас, а я нет.

– И вы что же в отношении меня? – допытывался Ченцов.

– Угадайте! – сказала Катрин, взмахнув на него своими черными глазами.

Ченцов пожал плечами.

– Угадывать я не мастер! – отвечал он.

Ему, кажется, хотелось, чтобы Катрин сама ему призналась в любви, но она удержалась.

– А вот это мне иногда представляется, – продолжал Ченцов, уже вставая и отыскивая свою шляпу, – что со временем мы с вами будем злейшие враги на смерть… на ножи…

Такое предположение удивило и оскорбило Катрин.

– Может быть, вы мне будете враг, а я вам никогда! – произнесла она с уверенностью.

– Будете! – повторил Ченцов. – И еще более горший враг, чем я; а затем вашу ручку!

Катрин с удовольствием подала ему руку, которую он поцеловал как бы с чувством и пошел нетвердой походкой.

Катрин проводила его до дверей передней, где справилась, есть ли у него лошадь, и когда узнала, что есть, то прошла в свою светлицу наверх, но заснуть долго не могла: очень уж ее сначала рассердил и огорчил Ченцов, а потом как будто бы и порадовал!..

VII

Ченцов приехал в свою гостиницу очень пьяный и, проходя по коридору, опять-таки совершенно случайно взглянул в окно и увидал комету с ее хвостом. При этом он уже не страх почувствовал, а какую-то злую радость, похожую на ту, которую он испытывал на дуэли, глядя в дуло направленного на него противником пистолета. Ченцов и на комету постарался так же смотреть, но вдруг послышались чьи-то шаги. Он обернулся и увидал Антипа Ильича.

– Отче Антипий! – крикнул он ему. – Ты видишь ли эту комету?

– Вижу! – отвечал старик.

– Что она так глазеет, и отчего у нее такой красный хвост?

Антип Ильич посмотрел своими кроткими глазами на светило небесное и проговорил медленно:

– Видно, погибла чья-то душа неповинная.

– Черт знает что такое: душа неповинная!.. – воскликнул Ченцов. – А у меня так вот душа не невинная, а винная!

– Ваше дело! – ответил старик и пошел было.

– Но куда же ты бежишь? – остановил его Ченцов.

– Егор Егорыч нездоровы, – бегу в аптеку! – доложил Антип Ильич и проворно ушел.

Что-то вроде угрызения совести отозвалось в душе Ченцова: он, почти угадывая причину болезни дяди, в которой и себя отчасти считал виноватым, подумал было зайти к Егору Егорычу, но не сделал этого, – ему стыдно показалось явиться к тому в пьяном виде.

Предчувствие Антипа Ильича, как оказалось это спустя уже десятки лет, почти что было верно. В то самое крещение, с которого я начал мой рассказ, далеко-далеко, более чем на тысячеверстном расстоянии от описываемой мною местности, в маленьком уездном городишке, случилось такого рода происшествие: поутру перед волоковым окном мещанского домика стояло двое нищих, – один старик и, по-видимому, слепой, а другой – его вожак – молодой, с лицом, залепленным в нескольких местах пластырями. Оба нищие в один голос вопили: «Подайте, Христа ради, слепому, убогому!» В это время на крыльце присутственных мест, бывших как раз против мещанского домика, появился чей-то молодой, должно быть, приказчик в мерлушечьем тулупчике и валяных сапогах. Другой молодец и тоже, должно быть, приказчик, проходивший по тротуару, окликнул его:

– Зачем ты это, Вася, там был?

– Плакатный выправлял!.. Вечером в Нижний еду!.. Расчет делать хозяин посылает! – сказал Вася, сходя с лестницы и пойдя с товарищем вместе по улице.

– И много, Вася, денег везешь? – расспрашивал тот.

– Уйму, братец… уйму!.. Ажно страшно!.. – отвечал Вася.

– Ничего!.. Важивал ведь прежде! – успокоивал его товарищ.

Нищие, и особенно молодой из них, заметно прислушивались к этому разговору. Из волокового окна между тем выглянуло заплывшее жиром, сизо-багровое лицо какой-то женщины, которая толстой и до плеча голой рукой подала им огромный кусище пирога и проговорила при этом:

– Не посетуйте, родимые!.. Чем богаты…

Пробурчав что-то такое на это, молитву или благодарность, старик засунул пирог в свою и без того уж битком набитую суму и вместе с вожаком пошел далее христарадничать по улице, а затем они совсем вышли из города и скрылись за ближайшим леском.

На другой день крещения, поздно вечером и именно в тот самый час, когда Ченцов разговаривал с Антипом Ильичом об комете, в крошечную спальню доктора Сверстова, служившего

в сказанном городишке уездным врачом, вошла его пожилая, сухопарая супруга с серыми, но не лишенными блеска глазами и с совершенно плоскою грудью.

– Сергей Николаич, Сергей Николаич! – проговорила она, осторожно будя мужа. – От исправника к тебе рассыльный: тело надобно завтра поднимать какого-то убитого!..

Доктор сейчас же поднялся на своей постели. Всякий живописец, всякий скульптор пожелал бы рисовать или лепить его фигуру, какою она явилась в настоящую минуту: курчавая голова доктора, слегка седоватая, была всклочена до последней степени; рубашка расстегнута; сухие ноги его живописно спускались с кровати. Всей этой наружностью своей он более напоминал какого-нибудь художника, чем врача.

– Тело?.. А когда же все выезжают? – переспросил доктор жену.

– Завтра утром, – отвечала она.

– Хорошо, скажи только фельдшеру, чтобы он заблаговременно приготовил мне инструменты, – проговорил доктор.

– Приготовим! – сказала докторша и, несколько величественной походкой выйдя из спальни мужа, прошла к себе тоже в спальню, где, впрочем, она стала еще вязать шерстяные носки. Доктор же улегся снова в постель; но, тревожимый разными соображениями по предстоящему для него делу, не заснул и проворочался до ранних обеден, пока за ним не заехал исправник, с которым он и отправился на место происшествия.

Госпожа Сверстова, или, как издавна и странно называл ее муж, gnadige Frau[27], желая тем выразить глубокое уважение к ней, оставшись дома одна, забыла даже пообедать и напилась только ячменного кофею. Она, как немка по рождению и воспитанию, конечно, с гораздо большим бы удовольствием вкушала мокко, но тот был слишком дорог, а потому она приучила себя к нашему русскому хлебному кофею, который, кроме своей дешевизны, был, как она полагала, полезен для ее слабой груди. Почтенную даму сию, как и самого доктора, беспокоила мысль, чтобы не произошло пререканий между супругом ее и членами полиции, что случалось почти при поднятии каждого трупа скоропостижно умершего или убитого. Члены полиции имели постоянным правилом своим по делам этого рода делать срывы с кого только возможно; но Сверстов, никогда ни по какому делу не бравший ни копейки, страшно восставал против таких поборов и не доносил о том по начальству единственно из чувства товарищества, так как и сам был все-таки чиновник. Домой он в этот раз не возвращался до поздней ночи. Gnadige Frau начала все более и более волноваться; наконец раздавшиеся исправнические колокольцы возвестили о прибытии Сверстова. Он прямо прошел в свою спаленку и сел там за ужин, еще заранее накрытый ему предупредительною супругою и который обыкновенно у него состоял из щей с бараниной, гречневой каши с свиным салом и графинчика водки. Все это gnadige Frau подала мужу собственноручно, и из того, что он прежде всего выпил сряду три рюмки водки, она заключила, что Сверстов был сильно не в духе.

– Кого это убили? – спросила она, садясь сбоку стола.

– Ивана Селиверстова сына, – милейший, прелестный мальчик! – воскликнул доктор и принялся жадно хлебать щи: бывая на следствиях, он никогда почти там ничего не ел, чтобы избежать поклепов в опивании и объедании обывателей.

– За что же и кто его убил? – продолжала расспрашивать gnadige Frau.

– Вероятно, из-за денег! Говорят, он ехал с уплатой от хозяина, – этого сквалыги Турбина… Тысяч пятьдесят вез!

– Ах, эти купцы русские, mein gott, mein gott!..[28] – перебила мужа gnadige Frau. – И отчего они посылают деньги не по почте, а с приказчиками – понять этого я не могу.

---

[27] милостивая государыня (нем.).

[28] господи, господи!.. (нем.).

– Думают, что на почте пропадут их деньги, – дичь! – подхватил Сверстов и выпил еще рюмку водки.

В глазах gnadige Frau промелькнуло неудовольствие. Для нее было большим горем, что доктор так любил эту гадкую русскую водку. Дело в том, что она вступила в брак со Сверстовым уже вдовою; в первом же замужестве была за лютеранским пастором в Ревеле, который тоже пил и довольно много, но только благородное баварское пиво, выписываемое им бочками из-за границы. Тщетно gnadige Frau убеждала своего второго супруга пить тоже пиво, но он в одном только этом случае не слушался ее и предпочитал наше простое пенное всем другим напиткам.

– Но где же найден убитый? – снова принялась она расспрашивать.

– Верстах в пятнадцати отсюда, знаешь, как спуститься с горы от Афанасьева к речке, на мосту он и лежит с необыкновенно кротким и добрым выражением в лице, – эх!..

И при этом восклицании Сверстов закинул свою курчавую голову назад и потряс ею.

– Его непременно зарезали бритвой, – рассказывал он далее, – вообрази, артерия carotis[29] на шее перехвачена пополам, хоть бы мне так отпрепарировать моим анатомическим ножом… Говорю это моим сотоварищам по делу… говорю: если бритвой, так его непременно убил человек, который бреется и который еще будет бриться, потому что он бритву не бросил, а унес с собой!.. В толк ничего взять не могут; по их, это начудили мужики из села Волжина, и, понимаешь, какая тут подлая подкладка? В Волжине мужики все богатые, и нельзя ли кого-нибудь из них притянуть к делу! Они хуже этих подорожных разбойников… Хуже!.. Тех, хоть недалеко вот тут, по соседству, на каторгу ссылают, а этим что?.. Живут себе и благоденствуют!

– Но кто вез этого молодого приказчика? – любопытствовала gnadige Frau.

– Один он ехал на хозяйской лошади, чтобы оставить ее в селе Волжине и взять оттуда сдаточных…

– А лошадь где же?.. С ним на мосту?

– Никакой нет лошади!.. Убийцы, вероятно, на ней и ускакали!..

– Но за ними следовало бы сейчас же погнаться.

– Погнались теперь становой и сам Турбин!..

– Не теперь бы, а еще вчера это следовало! – говорила все с большим и большим одушевлением gnadige Frau: о, она была дама энергическая и прозорливая, сумела бы найтись во всяких обстоятельствах жизни.

– Следовало бы, – согласился с ней и муж, – но поди ты, – разве им до того? Полиция наша только и ладит, как бы взятку сорвать, а Турбин этот с ума совсем спятил: врет что-то и болтает о своих деньгах, а что человека из-за него убили, – это ему ничего!

– Купец русский, – заметила с презрением gnadige Frau: она давно и очень сильно не любила торговых русских людей за то, что они действительно многократно обманывали ее и особенно при продаже дамских материй, которые через неделю же у ней, при всей бережливости в носке, делались тряпки тряпками; тогда как – gnadige Frau без чувства не могла говорить об этом, – тогда как платье, которое она сшила себе в Ревеле из голубого камлота еще перед свадьбой, было до сих пор новешенько.

– У меня одно екнуло в сердце, – воскликнул вдруг Сверстов, – что я, и не кто другой, как я, рано ли, поздно ли, но отыщу убийцу этого мальчика!

– Помоги тебе бог! – сказала gnadige Frau и, взяв со стола прежде всего водку, а потом и тарелки, унесла всю эту утварь в кухню.

– Ты ляжешь спать? – сказала она, возвратясь к мужу и видя, что он сидит, облокотясь на стол, мрачный и вместе с тем какой-то восторженный.

– Нет, я писать еще буду! – проговорил он.

– Что?.. – спросила gnadige Frau, имевшая привычку знать все, что предпринимал муж.

---

[29] сонная артерия (лат.).

– Письмо!..

– К кому?

– После скажу!.. Завтра потолкуем об этом; а то я растеряю нить моих мыслей.

Gnadige Frau поняла справедливость слов мужа и окончательно ушла в свою комнату, а Сверстов тотчас принялся писать предполагаемое им письмо, окончив которое он немедля же загасил свечку, хлобыснулся на свою постель и заснул крепчайшим сном.

Утром же следующего дня, когда gnadige Frau, успевшая еще в Ревеле отучить мужа от чаю и приучить пить кофе, принесла к нему в спальню кофейник, чашку и баранки, он пригласил ее сесть на обычное место около стола и с некоторою торжественностью объявил:

– Я написал нашему высокопочтенному Егору Егорычу Марфину письмецо!

– О чем? – спросила gnadige Frau кратко, но довольно благосклонно.

– Слушай! – ответил ей доктор и начал читать самое письмо:

«Солнце мое, свет очей моих, Егор Егорыч! Вы первый и больше всех учили меня покорности провидению, и я тщился быть таким; но призываю бога во свидетели: чаша терпения моего переполнилась. Что я наг и бос, – я никогда не роптал на то, как не роптала и моя gnadige Frau: людям, которым лишь нужно пропитать себя и прикрыть свое тело, немного надо. Но есть, великий учитель мой, вещи не по силам нашей душе и нашему самоуважению. Помня, что мы образ бога на земле, – жить посреди повального взяточничества, которое совершается непотаенно и перед трупом убитого, и перед одром умирающего, и голодающего в больнице, и перед живым телом бедного рекрута – непереносимо. Предчувствую, что Вы, по Вашей высокой мудрости, подумаете, что с грехопадением человека везде тако; и где же ты, куда спасешься?.. Знаю, великий учитель, что везде; но только не близ Вас, не в Вашем Вифлееме, не в Вашей больнице, в которую я просил бы Вас взять меня в качестве доктора. Насколько я врач искусный, не мое дело судить; но скажу, не смиренствуя лукаво, что я врач милосердный и болеющий о своих больных; а любовь и боленье о ближнем, Вы сами неоднократно преподавали, подсказывают многое человеку. Не дальше как сегодня я был свидетель… Но нет, язык мой немеет передавать Вам и возмущать Вашу чистую душу рассказами о непотребствах людей. Вы мне и без этого поверите и, как милостивый самарянин, поспешите перевязать мои служебные раны и доставить мне блаженство лично узреть Вас и жить около Вас.

Глубоко преданный вам Lupus».[30]

Gnadige Frau выслушала все письмо с полнейшим вниманием, и ясно было, что ее в нем нечто смущало.

– По-моему, – начала она своим суховатым голосом, – твоя просьба может стеснить Егора Егорыча.

– Каким образом? – произнес с удивлением Сверстов, которому и в голову не приходила подобная мысль.

– Таким образом, что Егор Егорыч должен будет назначить тебе жалованье, а это увеличит расходы его на больницу, которая и без того ему дорого стоит!

Замечание жены на мгновение смутило доктора, но потом лицо его снова просияло.

– А зачем мне жалованье? – возразил он. – Пусть Егор Егорыч даст нам только комнатку, – а у него их сорок в деревенском доме, – и тот обедец, которым он дворню свою кормит, и кормит, я знаю, отлично!

– Но как же нам быть совсем без копейки денег своих? Что ты за глупости говоришь? – произнесла уж с неудовольствием gnadige Frau.

– Деньги я заработаю на практике, которая, вероятно, будет у меня там! – фантазировал доктор.

[30] Волк (лат.).

Gnadige Frau сомнительно покачала головой: она очень хорошо знала, что если бы Сверстов и нашел там практику, так и то, любя больше лечить или бедных, или в дружественных ему домах, немного бы приобрел; но, с другой стороны, для нее было несомненно, что Егор Егорыч согласится взять в больничные врачи ее мужа не иначе, как с жалованьем, а потому gnadige Frau, деликатная и честная до щепетильности, сочла для себя нравственным долгом посоветовать Сверстову прибавить в письме своем, что буде Егор Егорыч хоть сколько-нибудь найдет неудобным учреждать должность врача при своей больнице, то, бога ради, и не делал бы того.

– Это вот хорошо, отлично!.. Умница ты у меня!.. – воскликнул Сверстов и, в постскриптуме написав слово в слово, что ему приказывала жена, спросил ее:

– В таком виде, значит, отправлять письмо можно?

– Можно, – разрешила ему gnadige Frau.

В благодарность за такое позволение Сверстов поцеловал жену. Она, в свою очередь, тоже довольно нежно чмокнула его.

Из всей этой сцены читатель, конечно, убедился, что между обоими супругами существовали полное согласив и любовь, но я должен сказать еще несколько слов и об их прошедшем, которое было не без поэзии. Сверстов, начиная с самой первой школьной скамьи, – бедный русак, по натуре своей совершенно непрактический, но бойкий на слова, очень способный к ученью, – по выходе из медицинской академии, как один из лучших казеннокоштных студентов, был назначен флотским врачом в Ревель, куда приехав, нанял себе маленькую комнату со столом у моложавой вдовы-пасторши Эмилии Клейнберг и предпочел эту квартиру другим с лукавою целью усовершенствоваться при разговорах с хозяйкою в немецком языке, в котором он был отчасти слаб. Об этом намерении он сказал с первых же слов молодой хозяйке, которая ничего не возразила на его желания, а, напротив, изъявила полную готовность. Ученье началось быстро и успешно; сначала наставница и ученик говорили по-немецки, разумеется, об обыденных предметах, а потом разговор их стал переходить и на нравственные, сердечные вопросы. Все это разрешилось тем, что Сверстов и пасторша воспылали друг к другу пламенною страстью, которую они не замедлили скрепить брачными узами. Тут молодой врач с искренним удовольствием увидал, что его жена не только gnadige Frau, но и многосведущая масонка, благодаря покойному пастору, бывшему сильным деятелем ложи строгого наблюдения, который старался передать молодой жене главные догмы масонства и вместе с тем познакомил ее с разными немецкими и русскими масонами. Достаточно было двух-трех задушевных бесед между супругами, чтобы Сверстов, слышавший еще прежде таинственные рассказы о масонстве и всегда его представлявший себе чем-то вроде высоконравственным, потребовал от жены сделать его масоном. Gnadige Frau было отрадно и очень легко, по ее связям, исполнить это. Сверстов оказался рьяным ищущим, так что весьма скоро его приняли учеником в одну из московских масонских лож, где потом возвели в степень товарища, а наконец и мастера. За это же время, приезжая раза два в год в нежно-любимую им Москву для присутствования в собраниях своей ложи, он познакомился с Егором Егорычем Марфиным, который сразу стал ему близким другом и наставником. Между тем для масонства наступала крутая пора, и Сверстов вдруг, по распоряжению высшего начальства, переведен был на службу из многолюдного и цивилизованного Ревеля совсем на восток России, в маленький, полудикий уездный городишко, в видах аки бы наказания за строптивый и непокорный характер перед старшими. Gnadige Frau, не желая еще более расстраивать мужа, и без того рвавшего на себе волосы от учиненной с ним несправедливости, делала вид, что такая перемена для нее ничего не значит, хотя в душе она глубоко страдала. Как бы то ни было, оба супруга покорились своей участи и переехали в свою ссылку, в которой прожили теперь около десяти уже лет, находя себе единственное развлечение в чтении и толковании библии, а также и внимательном изучении

французской книги Сен-Мартена[31]: «Des erreurs et de la verite»[32]. Но всему же, наконец, бывает предел на свете: Сверстову, более чем когда-либо рассорившемуся на последнем следствии с исправником и становым, точно свыше ниспосланная, пришла в голову мысль написать своему другу Марфину письмо с просьбой спасти его от казенной службы, что он, как мы видели, и исполнил, и пока его послание довольно медленно проходило тысячеверстное пространство, Егор Егорыч, пожалуй, еще более страдал, чем ученик его. Главною причиною его мучений, конечно, было то, что он на свой запрос Людмиле получил от адмиральши ответ почти через неделю. Старуха нетвердым и неразборчивым почерком писала ему:

«Cher ami!

Je vous prie de venir chez moi a sept heures; je me sens si malheureuse, que je ne puis rien vous dire de plus. Je vous attends donc.

Votre devouee».[33]

Марфин понял, в чем состояло несчастие адмиральши, будучи убежден, что она собственно желала выдать Людмилу за него, но та, вероятно, не согласилась на этот брак. Как ни тяжело было для Егора Егорыча такое предположение, но, помня слова свои из письма к Людмиле, что отказ ее он примет как спасительный для него урок, он не позволил себе волноваться и кипятиться, а, тихо и молча дождавшись назначенного ему часа, поехал к Рыжовым. В хаотическом доме Егор Егорыч застал полнейшую тишину, и, встреченный оборванным лакеем, он, по указанию того, прошел к Юлии Матвеевне в холодную и слабо освещенную двумя сальными свечами гостиную. Постукивая своими небольшими каблучками и стараясь по-прежнему сохранить присутствие духа, Егор Егорыч раскланялся с адмиральшей, которая сидела на среднем диване и, при появлении гостя, поспешила понюхать из держимой ею в руках стклянки с одеколоном.

Разговор начался между ними не скоро. Марфин, поместившийся невдалеке от хозяйки, держал голову потупленною вниз, а адмиральша робко взглядывала на него, как будто бы она что-то такое очень дурное совершила и намерена еще совершить против Егора Егорыча. Пересилив себя, впрочем, адмиральша заговорила первая, запинаясь несколько на словах:

– Я вам не писала долго… потому это… что ничего и не знала… Людмила такая… сделалась последнее время… нелюдимка и странная!

И при этом она, по своему обыкновению, развела с удивлением руками.

Марфин молчал и не поднимал головы.

– Но сегодня, – продолжала адмиральша, – Людмила мне сказала, что получила от вас… в письме… предложение на брак, но что пока… она… не может принять его.

Адмиральша тут солгала: Людмила прямо ей сказала, что она никогда не согласится на брак с Марфиным, точно так же, как и ни с кем другим.

Марфин продолжал упорно молчать.

– Но вы поймите, какой это удар для меня!.. Я только об этом и мечтала! – объяснила далее адмиральша, и слезы текли уже по ее щекам.

– Успокойтесь, успокойтесь! – забормотал, наконец, Марфин, хоть и сам тоже заметно неспокойный. – Мы с вами, может быть, виноватее других!.. Старость неспособна понимать молодость.

---

[31] Сен-Мартен (1743–1803) – французский философ-мистик. Основное его сочинение – «О заблуждениях и о истине» – было напечатано в 1785 году.

[32] «О заблуждениях и истине» (франц.).

[33] «Дорогой друг! Прошу вас прийти ко мне в семь часов; я чувствую себя настолько несчастной, что не могу вам сказать ничего больше. Итак, я вас жду. Преданная вам». (франц.).

– Ах, конечно, конечно!.. – воскликнула обрадованным голосом адмиральша, видевшая, что ее дорогой друг не очень на нее рассердился.

– Мы с вами виноваты, а не Людмила, – повторил Марфин и, встав, мотнул в знак прощания головой адмиральше.

Она была до крайности поражена такой поспешностью ее друга, но останавливать его не посмела, и Егор Егорыч, проворно уйдя от нее и порывисто накинув себе на плечи свою медвежью шубу, уехал прямо домой и снова заперся почти на замок от всех. Напрасно к нему приезжали сенатор, губернатор, губернский предводитель, написавший сверх того Егору Егорычу письмо, спрашивая, что такое с ним, – на все это Антип Ильич, по приказанию барина, кротко отвечал, что господин его болен, не может никого принимать и ни с кем письменно сноситься; но когда пришло к Егору Егорычу письмо от Сверстова, он как бы ожил и велел себе подать обед, питаясь до этого одним только чаем с просфорой, которую ему, с вынутием за здравие, каждое утро Антип Ильич приносил от обедни.

Ответ своему другу Егор Егорыч написал в тот же день, и он был следующего содержания:

«Сердечно-любимый брат!

Вы не ошиблись, что я поспешу к Вам на помощь и приму Вас к себе с распростертыми объятиями, о чем мне, сознаюсь теперь с великим стыдом, приходило неоднократно на мысль; но недостаточно еще, видно, воспитанное во мне соболезнование о ближнем, тем паче о таком ближнем, как Вы, рассеивало мое духовное представление о Вашем житье-бытье и не делало удара на мою волю нашим братским молотком. Дивлюсь тому и укоряю себя еще более, что я самолично, хотя и не служу, но зрю всюду вокруг себя и ведаю Ваши служебные раны. Мой дом, место доктора при больнице, с полным содержанием от меня Вам и Вашей супруге, с платою Вам тысячи рублей жалованья в год с того момента, как я сел за сие письмо, готовы к Вашим услугам, и ежели Вы называете меня Вашим солнцем, так и я Вас именую взаимно тем же оживляющим светилом, на подвиге которого будет стоять, при личном моем свидании с Вами, осветить и умиротворить мою бедствующую и грешную душу. Я завтра же уезжаю в Кузьмищево.

Firma rupes»

Как сказал Егор Егорыч в своем письме, так и сделал, и на другой день действительно ускакал в свое Кузьмищево.

VIII

На масленице губернское общество было взволновано известием о новом официальном бале, который намерен был дать сенатор обществу за оказанное ему гостеприимство. Дамы, разумеется, прежде всего обеспокоились о нарядах своих, ради которых, не без мелодраматических сцен, конечно, принялись опустошать карманы своих супругов или родителей, а мужчины больше толковали о том, кто был именно приглашен сенатором и кто нет, и по точному счету оказалось, что приглашенные были по преимуществу лица, не враждовавшие против губернатора, а враги его, напротив, почти все были не позваны. Губернский предводитель, впрочем, был одним из первых, получивших приглашение. Съезд назначен был к девяти часам. Раньше других на бал приехал губернатор и не с семейством своим, а с племянницей – m-me Клавской, разодетой, по тогдашнему времени, шикознейшим[34] образом. Сенатор встречал гостей своих у входных дверей в танцевальную залу, приветствуя с большим тактом и тонким отличием каждого. Губернатору, например, он изъявил сожаление, что супруга того не приехала, вероятно, по нездоровью. В ответ на это губернатор что-то такое промычал. Перед Клавской граф склонил голову и проговорил:

– Вы сегодня прелестнее, чем когда-либо!

M-me Клавская ответила ему нежной улыбкой и величественно пошла по зале, помахивая опахалом на свою немножко чересчур раскрытую грудь, и для чего она это делала – неизвестно, потому что в зале даже было холодновато. Ченцов появился на бале одновременно с молодыми сенаторскими чиновниками, разодетыми как лондонские денди. Он сам, не менее франтовато одетый и более всех молодцеватый и видный, был с ними со всеми на «ты», называя их несколько покровительственным тоном «архивными юношами», причем те, будучи чистокровными петербуржцами, спрашивали его:

– А что это за чучелы такие, эти архивные юноши?

– А такие же, как и вы, ухаживатели за разными скучающими Татьянами!.. – не полез в карман за словом Ченцов.

– Здравствуйте, лев наш! – вздумал было слегка подтрунить над ним сенатор, до которого уж доходили слухи, что Ченцов черт знает что такое рассказывает про него и про m-me Клавскую.

– У вас дамой-хозяйкой будет Лукерья Семеновна (имя Клавской)? – спросил ему в ответ Ченцов, будто бы бывший ужасно этим беспокоим.

– Она, – ответил сенатор и, обратив все свое внимание на вошедшего с дочерью губернского предводителя, рассыпался перед ним в любезностях, на которые Крапчик отвечал довольно сухо; мало того: он, взяв с несколько армейскою грубостью графа под руку, отвел его в сторону и проговорил:

– Я, ваше сиятельство, получил сегодня поутру от вас бумагу с жалобой на меня раскольника Ермолаева.

– Да, да! – подтвердил, смеясь, сенатор.

– Что же это, вопросные пункты, что ли, для меня? – продолжал явно озлобленным тоном Крапчик.

– О нет, mon cher!.. Comment vous pouvez croire cela!..[35] – воскликнул сенатор, вовсе не подозревая, что Крапчик ни одного звука не понимал по-французски.

Звездкин, стоявший невдалеке от сенатора, поспешил подойти к нему и вмешался в разговор.

---

[34] Шикознейший – шикарнейший, отличнейший.

[35] Как вы можете так думать!.. (франц.).

– Графу нужно знать ваше мнение по поводу этого прошения, – сказал он.

– Но в прошении упомянуто этим – извините вы меня – мерзавцем хлыстом и об архиерее здешнем!.. И у того, может быть, вы будете спрашивать мнения? – проговорил не без насмешки Крапчик и вместе с тем кидая сердитые взгляды на правителя дел.

– И преосвященного спросим, – отвечал тот совершенно спокойно и с явным сознанием своего достоинства.

Сенатору наскучило слушать их служебные препирания, и он с ласковой улыбкой стал оглядывать прочее общество.

Катрин между тем, заметив Ченцова, поспешно и с радостным лицом устремилась к нему.

– Вы, надеюсь, танцуете со мной? – сказала она.

– Танцую!.. – произнес протяжно и как бы нехотя Ченцов.

В числе вновь прибывавших гостей приехала, наконец, и адмиральша с своими красоточками. О, сколько беспокойств и хлопот причинил старушке этот вывоз дочерей: свежего, нового бального туалета у барышень не было, да и денег, чтобы сделать его, не обреталось; но привезти на такой блестящий бал, каковой предстоял у сенатора, молодых девушек в тех же платьях, в которых они являлись на нескольких балах, было бы решительно невозможно, и бедная Юлия Матвеевна, совсем почти в истерике, объездила всех местных модисток, умоляя их сшить дочерям ее наряды в долг; при этом сопровождала ее одна лишь Сусанна, и не ради туалета для себя, а ради того, чтобы Юлия Матвеевна как-нибудь не умерла дорогой.

Первую кадриль сенатор лично своей особой танцевал с m-me Клавской. Катрин, рассчитывавшая на Ченцова, попыталась повторить ему:

– Я с вами танцую!

– Вторую кадриль, – ответил он ей небрежно.

Оказалось, что первую кадриль Ченцов танцевал с Людмилой, которая была на себя непохожа: она похудела, подурнела, имела какой-то странный цвет лица.

– Вы больны? – спросил ее Ченцов с заметным беспокойством.

– Ужасно больна! – сказала Людмила. – Я не знаю, что такое со мною: у меня головокружение… я ничего есть не могу…

Ченцов закусил себе губы и, отвернувшись от Людмилы, начал смотреть на Катрин, которая, видимо, уничтоженная и опечаленная, танцевала с одним из самых щеголеватых сенаторских чиновников, но говорить с своим кавалером не могла и только отчасти вознаграждена была, танцуя вторую кадриль с Ченцовым, с которым она тоже мало говорила, но зато крепко пожимала ему руку, чувствуя при этом, что он хоть продолжал кусать себе усы, но отвечал ей тоже пожатием.

Рыжовы, так как Людмиле сделалось очень уж нехорошо, оставались недолго на балу, а вместе с ними исчез и Ченцов. Что касается до губернского предводителя, то он, сохраняя мрачный вид, пробыл до конца бала. Катрин, с исчезновением Ченцова, несколько раз подходила к отцу и умоляла его уехать. Крапчик не внимал ей и все некоторым преданным ему лицам что-то такое негромко говорил или почти даже шептал. Преданные лица, в свою очередь, выслушивали его: одни с удивлением, другие с невеселыми лицами, а третьи даже как бы и со страхом.

На другой день Крапчик, как только заблаговестили к вечерне, ехал уже в карете шестериком с форейтором и с саженным почти гайдуком на запятках в загородный Крестовоздвиженский монастырь, где имел свое пребывание местный архиерей Евгений, аки бы слушать ефимоны; но, увидав, что самого архиерея не было в церкви, он, не достояв службы, послал своего гайдука в покой ко владыке спросить у того, может ли он его принять, и получил ответ, что владыко очень рад его видеть. Евгений был архиерей, любимый дворянством и сам очень любивший дворян. Он не прямо из лавры поступил в монашество, но лет десять профессорствовал и, только уж овдовев, постригся, а потому жизнь светскую ведал хорошо; кроме того, по харак-

теру, был человек общительный, умный, довольно свободомыслящий для монаха и при этом еще весьма ученый, особенно по части церковной истории. Наружность владыко имел приятную: полноватый, не совершенно еще седой, с расчесанными бородой и волосами, в шелковой темно-гранатного цвета рясе, с кокетливо-навитыми на руке янтарными четками, с одним лишь докторским крестом на груди, который тогда имели не более как пять – шесть архиереев, он вышел в гостиную навстречу к Крапчику, который был во фраке и звезде, и, склонив несколько голову, подошел к благословению владыки. Тот его правой рукой благословил, а левой пожал ему руку, проговорив с улыбочкой:

– А уж чугунного перстенька больше не носите?

– Давно не ношу! – отвечал Крапчик, заметно сконфуженный этим вопросом.

Евгений движением руки пригласил гостя садиться на кресло, а сам сел на диван. Убранство гостиной владыки, за исключением нескольких уродливо нарисованных масляными красками портретов бывших архиереев в золотых потемневших рамах, все выглядывало весело и чисто. На красного дерева переддиванном столе горели две восковые свечи в серебряных подсвечниках, под которыми были подложены с стеклярусными краями бумажные коврики. На всех трех диванах, стоявших в гостиной, лежали красивые подушки. Все это, вероятно, было вышито чьей-нибудь благочестивой женской рукой.

– Что у вас в мире происходит?.. Трус, плач и смятение?.. – начал владыко не без усмешки.

– Плач и смятение! – отвечал Крапчик.

Владыко позвонил стоявшим на столе колокольчиком. Вошел служка в длиннополом сюртуке. Владыко ничего ему не проговорил, а только указал на гостя. Служка понял этот знак и вынес губернскому предводителю чай, ароматический запах которого распространился по всей комнате. Архиерей славился тем, что у него всегда подавался дорогой и душистый чай, до которого он сам был большой охотник. Крапчик, однако, отказался от чаю, будучи, видимо, чем-то озабочен.

– Я приехал к вашему преосвященству за советом! – сказал он несколько подобострастным тоном.

– Рад служить, насколько имею ума на то!.. – отвечал архиерей.

– Вашему преосвященству, конечно, известно, – продолжал Крапчик, – что последнее время в нашей губернии возникло несколько дел о скопцах.

– К сожалению, да, известно!.. – отвечал Евгений.

– Причиной тому был отчасти и я по тому случаю, что в этом именно уезде, где скопцы начали открываться, есть у меня небольшая усадьба, подаренная мне еще покойным благодетелем, императором Павлом… Не бывая в ней долгое время, я решился, наконец, года три тому назад вместе с дочерью провести там лето; соседние дворяне, разумеется, стали посещать меня и рассказывают мне, что в околотке – то тут, то там – начали появляться скопцы и, между прочим, один небогатый помещик со слезами на глазах объявил, что у него в именьице найдено десять молодых девушек, у которых тут не оказалось ничего – гладко!..

При этом губернский предводитель показал себе на грудь.

Архиерей передвинул три – четыре бусинки на четках и проговорил тоном печали:

– Во второй уже, значит, чистоте они были?

– Так, так! – подхватил Крапчик. – Так они и при следствии показали, что были в первой и во второй чистоте; но согласитесь, что нельзя же мне было, как губернскому предводителю, остаться тут бездейственным… Думаю, если так будет продолжаться, то, чего доброго, у нас заберут всех наших крестьян, передерут их плетьми и сошлют в Сибирь… Я вызываю исправника к себе и говорю ему, что буду зорко следить по этого рода делам за действиями земской полиции, а потому заранее прошу его не ссориться со мной. Припугнул, знаете, его немножко,

а то корова-то уж очень дойная: пожалуй, все бы закуплены были, не выключая даже самого губернатора!..

На это владыко выразил наклонением головы согласие: по своему направлению он тоже принадлежал к партии недовольных начальником губернии.

– И того не выключаю! – повторил Крапчик. – Но так как господин губернатор тогда был еще со мной хорош и ему прямо на моих глазах совестно было обнаружить себя, то он и принял мою сторону, – розыски действительно прошли очень сильные; но я этим не удовольствовался, и меня больше всего интересовало, кто ж над этими несчастными дураками совершает это?.. Оказывается, что все они говорят, что их изуродовал какой-то неизвестный странник, который проходил мимо и всем им обещал царство небесное за то!.. Явно, что это выдумка и ложь; и мне пришло в голову поехать посоветоваться с тамошним почтмейстером, умнейшим и честнейшим человеком, известным самому даже князю Александру Николаичу Голицыну[36]… Он обо всех этих ужасных случаях слышал и на мой вопрос отвечал, что это, вероятно, дело рук одного раскольника-хлыста, Федота Ермолаева, богатого маляра из деревни Свистова, который, – как известно это было почтмейстеру по службе, – имеет на крестьян сильное влияние, потому что, производя в Петербурге по летам стотысячные подряды, он зимой обыкновенно съезжает сюда, в деревню, и закабаливает здесь всякого рода рабочих, выдавая им на их нужды задатки, а с весной уводит их с собой в Питер; сверх того, в продолжение лета, высылает через почту домашним этих крестьян десятки тысяч, – воротило и кормилец, понимаете, всей округи… Мне это предположение почтмейстера показалось правдоподобным… Я передаю о том исправнику и советую ему, чтобы он к делу о скопцах привлек и этого хлыста… Исправник сначала было поершился, но, видя мою настойчивость, вызвал Ермолаева, опросил его и посадил в острог… Тогда является ко мне священник из того прихода, где жил этот хлыстовщик, и стал мне объяснять, что Ермолаев вовсе даже не раскольник, и что хотя судился по хлыстовщине[37], но отрекся от нее и ныне усердный православный, что доказывается тем, что каждогодно из Петербурга он привозит удостоверение о своем бытии на исповеди и у святого причастия; мало того-с: усердствуя к их приходской церкви, устроил в оной на свой счет новый иконостас, выкрасил, позолотил его и украсил даже новыми иконами, и что будто бы секта хлыстов с скопческою сектою не имеет никакого сходства, и что даже они враждуют между собою.

Евгений при этом усмехнулся и самодовольно погладил свою бороду: заметно было, что он давно и хорошо знал то, о чем предполагал говорить.

– Две эти секты и во вражде и в согласии, – сказал он, – как часто это бывает между родителями и детьми; все-таки хлыстовщина – праматерь скопчества.[38]

– Но каким же образом, ваше преосвященство, – возразил Крапчик, – мне наш общий с вами знакомый, Егор Егорыч Марфин, как-то раз говорил, что скопцы у нас были еще в древности, а хлысты, рассказывают, не очень давно появились?

– Скопцы, действительно, у нас были в древности, – отвечал Евгений, – и в начале нынешнего тысячелетия занимали даже высшие степени нашей церковной иерархии: Иоанн, митрополит киевский, родом грек, и Ефим, тоже киевский митрополит, бывший до иночества старшим боярином при князе Изяславе[39]; но это были лица единичные, случайные!.. Собственно же как секта, скопчество явилось из христовщины, или из хлыстовщины, как называют эту секту наши православные мужички!..

---

[36] Голицын Александр Николаевич (1773–1844) – князь, влиятельный государственный деятель эпохи императора Александра I.

[37] Хлыстовщина – мистическая секта, распространившаяся в России в XVII веке.

[38] Скопчество – религиозная секта, особенное распространение получившая в России во второй половине XVIII века.

[39] …князь Изяслав (1024–1078) – великий князь киевский, сын Ярослава Мудрого.

– Но я, ваше преосвященство, говоря откровенно, даже не знаю хорошенько, в чем и сама-то христовщина состоит, а между тем бы интересно было это для меня, – извините моей глупой любознательности.

Крапчик, действительно, был любознателен и любил всякое дело, как ищейка-собака, вынюхать до малейших подробностей и все потом внешним образом запомнить.

– Напротив, – возразил ему владыко, – я очень рад с вами беседовать. Хлыстовщина, по моему мнению, есть одна из самых невежественных сект. В догматике ее рассказывается, что бог Саваоф, видя, что христианство пало на земле от пришествия некоего антихриста из монашеского чина, разумея, без сомнения, под этим антихристом патриарха Никона[40], сошел сам на землю в лице крестьянина Костромской губернии, Юрьевецкого уезда, Данилы[41], или, как другие говорят, Капитона Филипповича; а между тем в Нижегородской губернии, сколько мне помнится, у двух столетних крестьянских супругов Сусловых родился ребенок-мальчик, которого ни поп и никто из крестьян крестить и воспринять от купели не пожелали… Тогда старики Сусловы пошли бродить по разным селам и деревням, чтобы найти для сына своего духовного и крестного отца, и встретился им на дороге старец велий, боголепный, и это был именно Капитон Филиппович, который Сусловым окрестил их сына, принял его от купели и нарек Иисусом Христом… Вслед за такого рода легендой молодой Суслов уже в действительности является большим распространителем хлыстовщины в Москве.

Губернский предводитель разводил только в удивлении руками.

– Нравственное же их учение, кроме невежества, вредное, – продолжал разговорившийся владыко, – оно учит: вина не пить, на мирские сходбища не ходить, посты постить, раденья, то есть их службы, совершать, а главное – холостым не жениться, а женатым разжениться…

[40] …патриарх Никон – в миру Никита Минов (1605–1681), выдающийся русский религиозный деятель.

[41] Данила Филиппов (ум. в 1700 г.) – основатель хлыстовской секты.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.